

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ

РОЙ

Сергей Алексеев

Рой

«Алексеев Сергей»

1988

Алексеев С. Т.

Рой / С. Т. Алексеев — «Алексеев Сергей», 1988

В давние времена, еще при Столыпине, несколько крестьянских семей из села Стремянка, что на речке Пижме под Вяткой, перебрались за Урал в поисках лучшей доли. Так и появились две Стремянки – российская и сибирская. Герои психологического романа «Рой» – вятские переселенцы и их потомки, несколько поколений людей, чья жизнь тесно сплелась с судьбой России. Они знают, что такое общинный уклад и достаток, разлад и бедность, погоня за счастьем на золотом прииске и преступление, крушение империи и гражданская смута, Великая Отечественная война и неотвратимое наступление будущего – общественных отношений, при которых возврат к старым нравственным ценностям невозможен. В 1990 году режиссер В. Хотиненко снял по книге С. Алексеева, удостоенной премии ВЦСПС и Союза писателей СССР, одноименный остросюжетный фильм.

© Алексеев С. Т., 1988

© Алексеев Сергей, 1988

Содержание

1	5
2	10
3	26
4	32
5	44
6	48
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Сергей Алексеев

Рой

1

Он давно изучил характер каждой собаки на пасеках, знал их в «лицо», как, впрочем, и собаки знали его. Он щадил их, даже в какой-то степени оберегал, потому что, порви он в горячке какую-нибудь очень уж назойливую собачонку, как немедленно появится новая, с неизвестным характером и повадками. А надеяться, что новенькая будет трусоватой, не приходилось, поскольку лайки в здешних местах славились храбростью и азартом, да и худых, робких псов на пасеках попросту не держали. Он понимал и то, что за порванную собаку, возможно, последует мщение хозяина, и кто знает, удастся ли на сей раз уберечься от пули?

Собаки, в свою очередь, хоть и проявляли рвение и азарт, когда он забредал на пасеки, хоть и хрипели от ярости, но тоже щадили его и не особенно-то старались остановить, закружить в буреломнике и подставить под выстрел хозяину. Недюжинным собачьим чутьем они понимали, что на смену старому знакомцу придет чужой, бог весть какого нрава и характера, скорее всего молодой, гонористый и дурной. Свято место пусто не бывает не только среди людей, но и в природе. Слишком мало оставалось в лесах таких малолюдных и медовых мест, чтобы пустовать ему. Человек по своей самоуверенности считал, что преданней собаки никого нет на белом свете, но, как всегда, ошибался, потому что любой, даже самый захудалый пес все-таки оставался зверем и подчинялся звериным законам.

То было тайное соглашение, своего рода договор о добрососедстве на паритетных началах, достигнутый в глубокой древности и вживленный в звериное сознание на уровне инстинкта.

Медведь был старый, не раз стрелянный. Первую пулю он заработал еще пестуном, когда их с маткой подняли из берлоги. Она сидела в мышце у правой лопатки, давно уже обволоклась жиром и теперь беспокоила лишь вёснами, когда он, голодный, вонючий и полублестящий, выбирался на свет божий. От пули болели лопатка, спина; тугая, ноющая боль стреляла в лапу, мозжило подушечки пальцев. Зверь, ковыляя на трех, быстро уставал, часто садился по-человечески на колодину и качал перед мордой больную лапу, будто дитя. Однако скоро нагуливал жир, и боль утихала до следующей весны.

Второй раз его стрелял мальчишка. С испугу влепил заряд дроби почти в упор и убежал. Дробь изорвала кожу на голове, в клочья разнесла ухо, но ничего больше не повредила. Рана заживала долго. Он не мог зализывать ее и, зачервивевший, больной, полуголодный, остался в зиму шатуном. Он давил в основном собак – тогда пасек и гарей в помине не было, – несколько раз забирался на скотокладбище, но в трупную яму не спускался: слишком глубока оказалась. Обилие пищи было рядом, стоило только съехать на заднице метра на четыре вниз, но сытость грозила смертью. Тощий и свирепый, он просиживал у ямы ночь и с рассветом, увлекая за собой деревенских собак, распахивал снега в сторону леса. Собаки настигали его, драли за «штаны», утопая, пытались отрезать путь по глубокому снегу, он шел, не обращая на них внимания, чтобы пуще разозлить и увлечь подальше в лес. Там он неожиданно и резко бросался на них, давил одну-двух – остальные вмиг убегали – и останавливался завтракать. Дважды за эту суровую зиму на него устраивали облавы, пытались выгнать из трущоб на луговины, где меньше снега и где может держать собака, однако он уводил охотников за собой еще глубже в леса, путал следы. Он хорошо знал и определял расстояние выстрела и, чтобы сохранить жизнь, старался не подпускать ближе. Таким образом однажды он весь день вел за собой ораву стрелков, не прячась, на виду, и нетерпеливые сожгли по нему десятка три патронов, но до

сумерек так и не настигли. А ночью, сделав круг, он подкрался к стану с другой стороны и задавил самого назойливого пса. В следующую облаву он намеревался уйти этим же способом, но отчего-то вдруг резко возросла досягаемость выстрела. И сами выстрелы были не такими, как раньше, а звонкими и короткими, словно лопнувший на морозе сучок.

Тогда он получил третью пулю в мякоть задней ноги. Пуля прошла навывлет, однако кровь на снегу возбудила в людях какой-то нечеловеческий азарт. Лишь от великого голода он мог гнать добычу так, как гнали его в тот раз. Всю ночь он кружил по буреломникам, останавливаясь, чтобы полизать кровоточащую рану. И победил – ушел.

И всю ту долгую зиму у него болела первая, детская рана у правой лопатки.

Четвертая пуля достала нынешней весной. Согнанный людьми со своей территории, он вовсе не считал ее пропавшей. Его владения, хотя здесь были пасеки, люди, собаки, лошади, оставались его владениями, которые он постоянно обходил, промышляя малиной, смородиной, реже драл лосей – уже не по зубам были крупные самцы и самки, да и не по силам. Главной пищей летом были мед, воск и сами пчелы. Он обходил свою землю, собирал дань и одновременно оставлял меты – «охранные грамоты», нацарапанные на сухостойких елях и молодом осиннике. А поскольку к старости он был ростом больше сажени, если становился на задние лапы, то его меты имели крепость и вес по всей округе. Если, случалось, забредал какой малолетний неуч-шалопай, то выпроваживался с треском и надолго забывал дорогу к пасекам.

На зиму он ложился в берлогу, отрытую несколько лет назад в заповедной и труднопроходимой части тайги. Сюда не забредали ни люди, ни собаки; тайга на многие десятки километров была сухостойная, мертвая. Когда-то сибирский шелкопряд начисто свел огромные площади кедрачей и ельников, иссушил их на корню, в два года уничтожив хвою на деревьях. Отсюда ушли звери, улетели птицы и лишь весной в мертвую тайгу во множестве собирались дятлы – добывать червя-подкорника. Полуголодный медведь бродил по сухостойной, пустой, как бубен, тайге-шелкопряднику, ел траву, ягоды и корни – пищу легкую и не очень-то пригодную, чтобы нагулять жиру на зиму. Однако все равно не покинул бы своей территории, не начнись тут великие и бесконечные пожары. Прощатавшись лето на чужбине, он вернулся на свою землю и не узнал ее. Шелкопрядники во многих местах выгорели так, что исчезли последние обитатели – мыши. На пожарище с черными высокими пнями ветер поднимал золу и пылил ею по всему белому свету. И все-таки он вырыл берлогу.

Спустя год, когда на горях появились молодые осинники, стали заходить лосихи с телятами, понемногу начали возвращаться зайцы, а потом откуда-то хлынуло воронье. Стаи этих птиц носились над землей – изуродованной, обожженной, и крик их было слышно за многие версты.

Потом гари бурно заросли кипреем-медоносом, и скоро на законной и многострадальной территории зверя, в разных ее местах, возникло полтора десятка избушек с пасеками, и с каждым годом количество их прирастало, расширялись левады с ульями, натаптывались тропы и дороги, отвоевывая у медведя жизненное пространство. Но вместе с пасеками, с беспокойством от собак и людей настали благодатные, медовые времена. Все лето он кормился возле пчел, как издревле повелось в его медвежьем роду, а на зиму ложился в берлогу.

Но прошлым летом и неподалеку от берлоги появились люди, пришли смело, по-хозяйски срубили большой дом, баню, выкопали омшаник, расставили пасеку и уехали. Остался только один человек, с собакой и мотоциклом. Медведь, когда еще шло строительство, несколько раз подходил к палатке, обнюхивал свежие пни, поваленные лесины и ощущал беспокойство. Каждый раз его брала собака, люди выскакивали с ружьями, палили наугад во тьму и возвращались. Но собака, не знавшая местных законов, преследовала его до самого утра. Он дразнил ее, и когда надоедала игра, уходил давно проверенным способом, позволял себя жамкнуть за «штаны», а потом стремительно убегал, делая петли. Собака, с забитыми шерстью носом и

пастью, тут же теряла след. Появление соседа он перенес довольно спокойно. Берлога была километрах в трех от избы, среди буреломника и лабиринтов из сухостоя, непроходимых для человека, поэтому он залег во-время. Весной же, маясь от боли в лопатке, он поднялся и пошел в обход своей земли. В шелкопрядниках еще лежал снег, трава только-только пробивалась на солнцепеках, прошлогодней ягоды не было – голодная весна. На горях же травы было вдосталь. Там сейчас паслись сохатые с телятами – пища легкая и полезная после спячки. Но недалеко от кромки гари, в пихтовом трущобнике, он набрел на вспухшую тушу лося. Удача была редкая, подкисшее мясо возбуждало жор и стремление скорее освободиться от застарелой боли. Он разорвал тушу и стал выедать внутренности. Отвыкший от пищи желудок много принять не мог, и медведь, вырвав легкие, отполз в сторону, на солнце. Он лег между колодин и, страдая от боли, теперь и в желудке, начал помаленьку есть распухшие, набитые затвердевшей кровью легкие. Он рвал их клыками и медленно, по-коровьи, пережевывал, выжидая, когда в желудке освободится место. И вот когда он доедал по-последний шмат, на зубы попало что-то твердое и несъедобное. Он выплюнул это на землю, обнюхал, попробовал на зуб. Остроносый маленький предмет отдавал порохом.

Неделю он жил возле туши. Нажравшись, убредал к краю гари, где стояла изба нового соседа, прятался в чаще и подолгу наблюдал. Человек с утра до ночи копошился возле дома, рубил лес, строгал, потом выставлял пасеку. Жажда поест меду была велика, но медведь знал, что в ульях почти пусто. Изредка собака чуяла его, поднимала лай, и тогда он спокойно уходил со своего поста к туше.

Спустя несколько дней, лежа на бугре возле избы, он увидел, как человек, привязав собаку, взял ведро и пошел в шелкопрядники. Медведь уже приготовился защищать свою добычу, но человек, не доходя до нее, остановился, побрякал ведром по завалу буреломника, и вдруг там вспыхнуло пламя. Ветер сразу подхватил его, раздул, разметал по иссохшему дереву, и вал огня стремительно покатился в глубь шелкопрядника, в сторону от берлоги, прямо к месту, где лежала лосиная туша. Погода была преддождевая, с севера гнало низкие тучи и к вечеру должен был хлынуть весенний ливень.

Медведь сразу же забыл и о человеке, и о недоеденной туше, и о том, что не улеглась еще боль в лопатке. Огня он боялся больше всего на свете, больше, чем облав и сухих коротких выстрелов. Он бросился вдоль опушки гари, круша валежник и перемахивая через весенние речушки. Запах дыма преследовал его, и пока нагонял этот запах, инстинкт подсказывал – бежать. Вгорячах он выскочил на прогалину, где чуть не сшибся с сохатиной маткой о двух телятах, отпрыгнул в сторону. Потом угодил на пасеку, неведомым образом проскочив вспаханную полосу – противопожарную, которыми были обведены все пасеки и которые он днем никогда не переступал. На пасеке он чуть не налетел на людей, неожиданно появившихся из высокой прошлогодней травы. Люди заорали на него, замахали руками, один поднял топор, но медведь и не думал нападать. Он сшиб пустую кадку и под брех собак ринулся в глубь гари.

Только к вечеру, после ливня, запах дыма исчез. Однако он еще несколько дней не решался вернуться в свой угол и свирепел от голода. С той стороны все еще потягивало свежей гарью, и в зверином сознании клубился запечатленный памятью пожар.

А когда все-таки вернулся, то не мог узнать места. Огонь выпалил огромную площадь: сгорели буреломники возле берлоги и остатки лосиной туши. Он поглотал обугленные кости, поревел, разгребая головни и пепел, измазался в саже и побрел в поисках пищи. Но все живое ушло от огня, подросшая было трава выгорела. Прошатавшись до вечера, он вышел на кромку старой гари, к избе, обнесенной пряслом и противопожарной полосой. Пища была рядом: ровные шеренги ульев заполняли широкую зеленую поляну, но был еще день, был свет, и ступать за полосу свежей земли казалось опасным. Однако голод и боль в лопатке притупили это чувство.

Он подкрался к пасеке с подветренной стороны по высокой прошлогодней траве и улегся возле прясла. Ни человека, ни собаки видно не было, хотя запах их был опасно силен и неистребим. Протиснувшись под жердиной, он ступил на территорию пасеки и подкрался к крайней колодке. Теперь уж медлить и осматриваться было нельзя. Привычным движением он скинул крышку, опрокинул улей на бок и стал выедать рамки вместе с пчелами. Меду было мало, но зато густо и много белой, невызревшей пчелиной детки, которая на вкус слаще меда и даже материнского молока. Морда и язык горели от укусов, но это лишь напоминало благодатные медовые времена и усиливало жор.

Через несколько минут он расправился с первым ульем, отмахиваясь от пчел, облизал исковерканные рамки и поплелся ко второму. Распотрошив его, он уже без жадности стал выедать соты послаще, а потом и сел, заворчал благодуще.

Он не заметил, как на пасеку вышел человек, на мгновение остолбенел с открытым ртом и осторожно попятился назад...

В этот раз спасла собака. Она заполошно вылетела в леваду на несколько секунд раньше, чем появился человек с ружьем, и, захлебываясь в лае, бросилась к зверю. Тот кубарем откатился к пряслам, вынес на плечах целый пролет и скрылся в прошлогодней траве. Вслед, один за одним, прогремело пять хлестких выстрелов, но все мимо.

Сытый и довольный, он скоро отвязался от собаки и ушел в глубь свежей гари. Инстинкт с неистовой силой тянул его туда, где в заповедном углу он столько раз отдыхал после сытной и сладкой пищи. Но кругом вместо покойных буреломов лежали только огарки деревьев, угли и пепел. Так и не найдя пристанища, он убрел на узкую полосу уцелевшего шелкопряда недалеко от избы и залег до утра. А утром он вышел на бугор, откуда наблюдал за пасекой, и увидел, что человек привязал собаку посередине левады на длинную цепь, завел мотоцикл и уехал. Сосед был неопытным в пасечных делах и, по сути, оставил на разграбление всю пасеку вместе с собакой. Медведь безбоязненно спустился с бугра и залез в леваду. Привязанный кобель заливался лаем, скреб лапами землю, душился на ошейнике.

Медведь же перевернул улей и стал жрать.

И вдруг собака умолкла. Натянув цепь до отказа, легла на землю и, положив голову на передние лапы, принялась зорко наблюдать за медведем, вкусно облизываясь. Ее гипнотизировала чужая еда-добыча. Она вновь стала зверем, и перед ней был более сильный хищник, который, конечно же, не уступит своей пищи, и остается только лежать, смотреть и глотать слюнки.

Медведь на сей раз осилил лишь один улей и, отягощенный пищей, пошел к избе. Собака снова захрипела от злобы. Теперь она пыталась защитить жилье хозяина, а значит, и свое жилье. Медведь мог очень просто задавить ее, но в силу уже вступило соглашение о добрососедстве.

Он обошел избу кругом, попихался в запертую дверь и с неожиданной злостью вынес ее вместе с косяками. Запахи человека, железа и пороха уже не смущали его; наоборот, их яркость и сила будоражили, вызывали ненависть. В сенцах он перевернул бочку со старым медом, полизал, погрыз его, затем порвал мешок, выпустив тучу белой пыли, тоже попробовал на вкус, но мука после меда не понравилась. Зато он добрался до мешка с солью и поел ее с удовольствием. Повалившись напоследок в муке, он сунулся в избу. Медведь обнюхал углы, полизал шкаф с посудой, затем сунулся мордой в кровать, но здесь так пронзительно пахло человеком, что он отскочил и заворчал. И тут он заметил небольшой круглый предмет на стене, блестящий на солнце. Он поднялся на задние лапы, обнюхал, облизал его и, сорвав со стены, долго вертел в лапах, сидя посередине избы...

Едва медведь вывалился наружу, как угодил на собаку. Та перегрызла кол, сорвалась вместе с цепью и теперь яростно бросилась на погромщика. Медведь неторопливо пересек леваду и направился к противоположной полосе. Длинная цепь мешала преследовать, и собака

отстала, заскулила от бессилия. Повертевшись возле минполосы¹, она вернулась на пасеку, зашла в сени и начала с удовольствием слизывать с пола муку.

А сытый зверь уснул в полосе шелкопряда. Он не слышал, как на пасеку приехала машина с людьми и собаками, как люди, наскоро осмотрев погром, зарядили ружья и, пустив лаек по следу, начали облаву.

Он проснулся оттого, что собаки были рядом и облаивали его с хрипом и злобой. Он отмахнулся от них и не спеша поковылял в глухой чащобник, где его трудно держать собакам и куда вряд ли полезут охотники. В этот момент с трех сторон полыхнул ружейный залп, и медведя откинуло под выворотень. Он тут же вскочил и, свирепея от резкой боли, пронзившей грудь, не разбирая дороги, кинулся по бурелому. Следом вразнобой заухали выстрелы, закричали люди, завизжали собаки, а он, роняя из пасти кровь, лез в гущу шелкопряда. Он орал, круша колодник и молодые осинники. Но вот кончился сухостой, и впереди потянулась ровная, как ладонь, свежая гарь. Охотники тем временем окружали: голоса раздавались со всех сторон.

Медведь остановился на краю полосы шелкопряда и уже не замечал собак. Собаки были с разных пасек и знали, что здесь для них – чужая территория, и это затмило закон о добрососедстве. Тем более дразнила и приводила в ярость горячая медвежья кровь на горелой земле. Здесь можно было все, и они рвали, повисая на «штанах», забивая глотки шерстью. Они старались выгнать его на чистину, закружить и отдать под пули хозяев.

Он лег, вытянув лапы, прижал голову к земле. Собаки разом отскочили. Они-то знали, что сулит такое смирение. Облавщики между тем подходили на лай собак, громко переговаривались. Он ждал момента, слизывая с земли собственную кровь. Вот человек приблизился на расстояние выстрела, поднял ружье, но стрелять было не в кого. В траве мелькали лишь собачьи спины. Человек пошел прямо на него, а он следил не за человеком – за ружьем в его руках. И собаки, видя человека, залаяли азартнее, выказывали зверя – вот он! вот!

Оставалось шесть сажен, когда человек остановился и поднял ружье. В этот миг медведь стремительно выскочил из травы и скачками ринулся на человека. Тот выстрелил и прыгнул в сторону. Медведь пронесся мимо, увлекая собак, помчался через гарь к далекому шелкопряднику. Следом бестолково загремели выстрелы...

Но одна из собак, вдруг бросив зверя, кинулась на охотника. На того, который стрелял в упор и промахнулся. Человек, перехватив ружье за ствол, отбивался и отступал в полосу шелкопряда.

Только глубокой ночью медведь оторвался от собак и ушел к кромке живого леса. Изнеможенный, захлебывающийся кровью, зверь сделал несколько петель и залег на самой границе своей законной земли.

¹ Минполоса (минеральная полоса) – вскопанная земля, защищающая постройки или лес от пожара.

2

Взяток с акации был сильным: не прошло и недели с начала цветения, а уж соты полные. Испарение и запах меда были настолько мощными, что как-то враз заглушили, растворили в себе вездесущий и едкий запах гари. Ровный, монотонный гул пасеки стихал лишь на короткие часы летней ночи и чуть свет возникал сызнова. Огрузившие взятком пчелы с лёта падали на крыльца ульев, как уставшие в поле мужики. А на подходе уже был полевой осот, и главный медонос – кипрей – выгнал стебель и набрал цвет. В колодках не хватало свободных сотов, и пчелы покусились на святая святых: выбрасывая детку вон, заполняя ячеи нектаром.

В тот день с утра Василий Тимофеевич Заварзин выкашивал траву на точке и увидел под летками ульев белых, еще не пропавших на солнце личинок. Он повесил косу на прясло и пошел готовить медогонку. Пока снимал с чердака фляги, таскал из склада сушь – рамки с пустыми сотами, чтобы сразу, по ходу дела, менять на медовые, пока раскочегарил дымарь, из левады прибежал Артюша и заорал, выкатывая глаза:

– Батя! Рой! Рой идет! Туча!

Заварзин выругался про себя и с дымарем в руках припустил на пасеку.

Над ульями металось облако пчел. Оно то зависало на месте, собираясь в шар, то разносилось рваными охвостьями, эдакими вездесущими руками-щупальцами, словно проверяя пространство вокруг себя. Рой искал матку; ее же искали трутни, прошивая насквозь мельтешащее облако. Они вовсе не были бесполезными или ленивыми, как считал всегда человек. Они не жили и не могли жить на дармовщинку, за счет чужого хребта – они исполняли свое предназначение, как, впрочем, исполняет его матка. Они продлевали род своей семьи, и в этом был высший смысл их жизни.

Если трутни метались по рою, значит, матка еще не вышла из улья. Василий Тимофеевич определил, откуда выходит рой, и присел к летку колодки. Вот бы матку поймать! Тогда бы пчелы пометались и, успокоившись, вернулись назад. Жалко было в пору хорошего взятка ослаблять семью, тем более на корпусе уже стоял меловой крестик – мета, что из этой семьи нынче уже сходил рой. Пчелы у Заварзина отличались особым нравом: обычно на пасеках, если есть взятки, ни одного роя не выходит, тут же словно сдурели. Нет работать и таскать мед – роятся каждый день. Из каждой семьи по два-три роя уходит, причем один за одним. Пчел в улье – пригоршня остается, уж и делить-то нечего! Ан нет! Снова разделились, разобрали шапки, как мужики после драки, и разошлись чужими. По науке и собственному опыту Заварзин знал, отчего происходит роение: в семье появляется молодая матка, а вдвоем со старой им – как двум медведям в одной берлоге – не улечься. Жизнь у пчел, хоть и говорят, что неразумная, однако столько в ней чудес, которые ничем больше, как разумом, не объяснишь. Пчеловоды советовали Заварзину поменять маток – взять с других пасек: мол, в матках все дело, от них такая ройливость, но чем больше Василий Тимофеевич наблюдал за своими бунтующими пчелами, тем сильнее убеждался, что матки-то здесь ни при чем. Дело было в самих пчелах. Это они с какой-то неистребимой настойчивостью, словно предчувствуя свою пчелиную беду, словно подстраховываясь на будущее, один за одним закладывали в сотах маточники – специально расширенные и увеличенные гнезда, куда потом матка откладывала обыкновенное яйцо. Это они, пчелы, из этого яйца выкармливали новую матку. Из других, точно таких же, выходили пчелы, из этого – матка. Разве это не чудо?

Вначале Заварзин, проверяя ульи, нещадно вырезал маточники с высевом – верный способ предупредить рой, однако пчелы вскоре сооружали новые, и так шло бесконечно. Потом он понял, что пчелы беспокоятся, что они попросту боятся остаться без матки. И, поверив в их боязнь, он поверил в разум пчел.

Заварзин сидел возле летка. Лавины пчел, нагруженных про запас медом, вытекали из улья, разбегались по прилетному крыльцу, словно люди от бедствия, и взмывали в воздух. Попробуй заметь тут вовремя матку, разберись в этой каше! Глаза вдруг заслезились, зарябило от мелькания пчел; Василий Тимофеевич протер их кулаками, склонился ниже. Вот же как устроено! Старая матка берет с собой половину семьи и уходит из дома. По-хорошему-то, поллюдски, она бы в улье остаться должна: ее таки родительница, хозяйка. Но нет же, еще молодые матки вылупиться не успели, по маточникам сидят, а старая уже чует и скорей-скорей от своих питомиц. Ведь и избу свою обжитую оставляет, детишек своих, насеянных в ячейках, мед, рамки и летит черт-те куда! Ей бы молодежь выпроводить – пускай самостоятельно жить начинают, работают, богатеют, – а она сама норовит улететь. Вот и скажи потом, что человек умнее и благороднее всех в природе...

Василий Тимофеевич думал так и чувствовал, что напрасно торчит у летка, но уж слишком жалко отпускать рой и разрушать семью. За последние несколько дней он проморгал уже два роя: не прививаются, хоть ты лопни. Пополошутся над пасекой – и подались искать новой доли где-нибудь в шелкопрядниках. Ведь и привой – обожженные деревянные грибки – стоят по всей пасеке, и пустые ульи с сушью и медом: заселяйся и живи. Все равно уходят...

Заварзин плюнул, сбегал к складу и, схватив две косы без черенков, загребел, забренчал ими. От резкого шума рой должен был привиться скорее, но тут хоть в колокола бей – без пользы. Бросив косы, Василий Тимофеевич принес ружье и, подняв стволы, выпалил дуплетом. Рой метнулся в сторону, сгустился, но затем вновь рассеялся: похоже, намеревался уйти в шелкопрядники.

– Тащи патроны! – крикнул он Артюше. – Уйдет! Ишь, старая карга, куда потянула!

Артюша, пригибаясь и отмахиваясь от пчел, принес патронташ и моментально исчез. Он уже три года жил на пасеке, но пчел боялся, как ребенок. Заварзин расстрелял десяток патронов, однако рой поднялся выше и медленно пошел над гарью. Оставался последний способ удержать и посадить его – привой на длинной жерди. Василий Тимофеевич сбегал за ним к пряслу, поднял привой, как знамя, и пошел на рой.

Он пихал его в самую гущу пчел, подставляя им грибок – садитесь, пожалуйста! – однако рой уклонялся от привоя, и все дело было в старой матке. Если бы она села, ее семейство немедленно последовало бы за ней. Матка же упорно тянула пчел от родного дома. Заварзин с привоем в руках некоторое время бежал за роем, наткнулся на ульи, на пни, пока не врезался грудью в прясло. Здесь он бросил привой, перелез через изгородь и побежал, не выпуская из вида пчелиное облако: может, одумаются, сядут где... Высокий кипрей стегал по лицу, путал ноги, прошлогодний малинник драл штаны, как колючая проволока; он несколько раз спотыкался, пока не выбежал на минполосу, а там махнул рукой и пошел назад.

Артюша сидел около избы и, держась за щеку, жалобно стонал: его все-таки укусила пчела.

– И этот ушел, – сказал Заварзин, опускаясь рядом. – Чего они нас не любят, Артемий?

– К нему на пасеку полетели, – простонал Артюша. – Он поманил, они и полетели...

– Кто он-то?

– Да медведушко, – протянул Артюша. – Он ведь оборотень, он все может. Завел, поди, пасеку в лесу, да подманивает наших.

Стремянскому дурачку шел четвертый десяток; на вид – здоровый мужик, вот только с некоторых пор борода перестала расти и голос стал тонким, старческим. И на голову ослаб, считали в Стремянке, но Заварзину иногда казалось, что он в здравом рассудке и только немного задумчивый.

– Пошли искать, – сказал Заварзин. – Жалко, замерзнут зимой.

Он взял берестяную роевню, сунул топор за опояску, Артюше вручил пилу на случай, если придется валить сухостоину с роем, и подался в сторону шелкопрядников.

Даже в ведро, при светлом солнце и тихой погоде, мертвый лес казался сумрачным, жутковатым. Где-то скрипело, ни с того ни с сего вдруг падало дерево, внешне крепкое и звонкое, если стукнуть топором; и пахло здесь гнилым деревом, прелью, грибами-поганками. Но самое неприятное, что шелкопрядник не шумел и при сильном ветре: только скрип, скрежет и костяной стук. И к этому надо было ох как привыкнуть после живого-то леса!

Благословенны были очистительные пожары для этой земли. Они полыхали каждый год с ранней весны до поздней осени, по три-четыре раза на одном месте, пока все – и валежник, и подросший молодняк – не выгорало дочиства.

Благословенные пожары не щадили ничего живого, что с таким трудом вырастало и рождалось здесь. Случалось, горела земля, самый ее нежный и драгоценный слой. Горела без пламени и треска, дымилась месяцами, пока осенние дожди или зимние снега не гасили последнего очага. Выгоревшие серые пятна на земле в Стремянке назывались ожогами. Пожары вспыхивали и от рук пасечников, и от грозы, и еще от каких-то тайных искр, бурей проносились по шелкопрядникам и были страшны в своей скоротечности.

Заварзин с Артюшей прошли через гарь, тянувшуюся километра на три от пасеки, и ступили в шелкопрядник. Артюша то и дело запинался, цеплялся, шарахался в стороны, и пила на его плече жалобно позванивала. В шелкопряднике он стал жаться к Василию Тимофеевичу, наступал на пятки и озирался. Его пугал не сам мертвый лес, а отдельные сухостойные деревья, возвышающиеся над другими. Увидев высоченную ель, он вытягивал дрожащую руку, говорил шепотом, выкатывая глаза:

– Батя, гляди!

Заварзин глядел, и ему тоже становилось не по себе. Сухие ели походили на скелеты, подпирающие небо выбеленными костями. Но пугало не это сходство, а неестественность обступающей со всех сторон безжизненности, словно в кошмарном сне.

– А что смотреть-то? Что? – шепотом спрашивал Заварзин.

– Дак дерево!.. Засохло, а растет.

Сухостой и впрямь, казалось, будто выросли.

В одиночку Артюша вообще не совался в шелкопрядники. А те их островки, что были по дороге в Стремянку, он быстро пробежал или шел, зажмурившись, как в детстве мимо кладбища. Однако больше всего он боялся пожара, и стоило Заварзину закурить, как Артюша уже глаз не спускал с окурка. На пасеке возле избы стояла кадка с водой, ящик с песком, на стене – багры, ведра, топоры – все как полагается. Это появилось вместе с Артюшей, поскольку он когда-то закончил пожарное училище и лет пять работал инспектором госпожнадзора в чине старшего лейтенанта. И ходил он теперь в поношенной военной форме без погон и покоробившейся фуражке.

Они прошли по кромке сухостоя, среди обугленных высоких пней и черных деревьев, полезли глубже, в завалы и нагромождение ветровала. Искать здесь улетевший рой было что иголку в стогу, но ведь улетел-то третий! Хоть один отыскать, а то скоро половина пасеки переселится в дупла.

Вдруг Артюша дернул за рукав, указал в сторону:

– Бать! Гляди!

– Что? – Заварзин оглянулся.

– Да вон... Пасека...

На длинном пне высотой метра в три стоял улей. Хорошо было видно, как снуют пчелы у летка, и даже, показалось, тянуло запахом цветущей акации. Заварзин снял с плеч роевню, сел на колодину. Нет, не привиделся улей; стоит себе самый настоящий, приколоченный к пню полосовым железом, чтоб ветром не сронило. Но откуда ему здесь взяться, среди шелкопрядников? Да и улей-то – чужой...

– Я ж говорил – его пасека! – зашептал Артюша. – Он наших пчел ловит и пасеку разводит!

– Кто? – ошалело спросил Заварзин.

– Да медведушко! Оборотень!.. Пошли, бать, отсюда. Возьмет да придет, у нас и ружья нету...

– Погоди-ка. – Заварзин подошел к пню, обошел вокруг, задрал голову. – И впрямь какой-то оборотень... Как только затащил туда?

– Он всё может, – озираясь, прошептал Артюша. – Он, слышь, головни по лесу разносит да шелкопрядники жжет! Он! Я сам видел...

Заварзин осмотрел опилок пня, лежащий под ногами, перевернул его, сел. Каждой пасеке, по неписаным стремян-ским правилам, принадлежала территория километров пятнадцать в диаметре. Этаким круг, очерченный условной линией-границей, которую могла достигать рабочая пчела. И уж кто сел с пасекой на место, земля автоматически отторгалась хозяину и границы ее нарезались сами собой, вернее, пчелами. Благо, что шелкопрядников и гарей на юг от Стремянки было сотни тысяч гектаров. С тех пор как Стремянка обросла пасеками, среди пчеловодов считалось самым по-следним делом ловить чужие рои. Лучше уж голым по деревне пройти, чем пустые ульи к пасекам подставлять. Другое дело, если ты в дупле семью нашел. Слова никто не скажет, наоборот, говорить будут, мол, счастливчик, повезло. От одичавших пчел, перезимовавших в дупле, от их матки шло хорошее потомство, и пасека в какой-то мере омолаживалась, крепла. Но кому охота ломиться сквозь лабиринты завалов в шелкопрядниках, чтобы искать такого счастья, когда работы на пасеках по горло? Удача-то была как раз в случайности: будто шел по дороге и нашел кошель с золотом.

Кто же мог залезть на чужую землю? Кто подставил улей?

– Слышь, бать, – Артюша трепал его за штанину. – Говорят, его с ружья-то просто так не возьмешь. Говорят, вместо пули медную пуговку зарядить надо. Оборотня только медной пуговкой убьешь... Может, сбегать за ружьем?

– Обойдемся. – Заварзин поднял роевню. – Раз день насмарку, пошли, Артемий. Сходим в Яранку, к деду Ощепкину. Узнаем, пришел – нет...

Дед Ощепкин жил один в брошенной деревне и родом был из кержаков. Весной у него померла старуха, и вышла по этому поводу канитель. Старик выдолбил ей колоду, схоронил, как полагалось у старообрядцев, и в сельсовет ни слова. Хватились там – слух дошел, – надо смерть оформить, чтобы врач ее подтвердил, а покойная уж месяц как в земле. Тут какое-то начальство из района оказалось в Стремянке, председателю сельсовета выговор дали, заодно фельдшеру, и приказали немедленно восстановить порядок. А здесь еще один слух: будто дед Ощепкин свою старуху убил. Как ни говори, третью за свою жизнь хоронит, вернее, за последние семь лет. Кому-то это показалось много, и чуть ли не следствие по этому делу возбудили, а старику сказали, что колоду выкапывать будут и смотреть, не убитая ли. Дед Ощепкин пришел ночью к Заварзину – советоваться. Когда Василий Тимофеевич был председателем сельсовета в Стремянке, они дружили, в гости друг к другу ездили.

Потом сельсовет перевели в деревню за сорок километров. Заварзина назначили бригадиром пожарных, и дружба как-то развалилась. Но тут пришел, крадучись от соседей, и сразу каяться начал, оправдываться:

– Да не убивал я ее! Сами они помирают. Меня смерть никак не берет, а старухи мрут. Так виноват я или нет?

Заварзин успокоил его, утешил и отправил домой. Наутро примчался председатель – молодой еще парень, нездешний, и с расспросами: мол, можно ли доверять Ощепкину? Хотя и за девяносто ему, а крепкий еще, как смолевой пень. Кто его знает, в сердцах шарахнет кулаком старушонку, много ли ей надо? Говорят, он злой бывает, нервный. Как ни говори, в тридцатых годах в тюрьме сидел, а потом в ссылке жил, после раскулачивания. Заварзин посме-

ялся и поручился за старика, однако и у самого в душе ворохнулся червячок. Особенно когда стало известно, что Ощепкин из Яранки пропал. Ушел куда-то – и с концами. Хозяйство у него кот наплакал – пяток ульев да пяток овец с коровой, но все равно глаз нужен. А тут неделю нет, вторую, третью. Скотина сама по себе ходит, пчелы, поди, одичали, а кобель, говорят, извылся... Может, умер где старик и лежит непохороненный?

От чужого улья они пошли шелкопрядниками, ломились часа полтора по буреломнику, а валежник был особый, елово-пихтовый – высохший на корню, аж звенел и топорщился сучьями, крепкими, что самоковные гвозди; тот же, который гнил на земле, был еще опаснее. Сгнившая под корой болонь превращалась в мыло, и упаси бог наступить на такое дерево. Выбравшись на старую яранскую дорогу, они сели покурить. Вернее, курил Заварзин, Артюша заботился о пожарной безопасности. Вдоль дороги по старым гарям уже поднимались молодые кедровники, саженные лет пятнадцать назад. Все лесопосадки, как и пасеки, были кругом опаханы минполосой; и вообще, если взглянуть свежим глазом, то могло показаться, что шелкопрядники и гари беспорядочно и бестолково разделены какими-то гранями, границами, перепаханы бороздами, широкими полосами, изрыты бульдозерами, бомбовыми воронками (и так пытались тушить пожары). Вдруг среди гари, вылизанной огнем несколько раз, среди серых пятен ожогов можно было увидеть кусок дороги, словно брошенный кем-то или забытый инструмент из крестьянского хозяйства. Или наткнуться на целехонькие печи старой смолокурни. А то еще удивительнее: среди лесного хлама, черных головней и буйных зарослей малинника неожиданно откроется узкая полоска самой настоящей пашни. Конечно, задернованной, поросшей дикотравьем, но стоит присмотреться – и все как на ладони: вот борозды от плуга, вот залого вокруг огромных пней и вдоль леса...

Артюша выцарапал из земли втоптаный окурок, еще раз заплевал его, вдавил в песок, и они пошли. До Яранки оставалось километров восемь; дорога была кое-как расчищена от ветровала, хотя давно неезжена. Идти после шелкопрядников стало приятно, тем более с обеих сторон густо пошумливал молодой кедр. И мысли у Василия Тимофеевича повеселели, побежали быстрее. Пройдет еще лет пятьдесят, думал он, и вся эта истерзанная бедами земля зарастет, погниет валежник, упадет последний сухостой, и сроду не подумаешь, что здесь сохатые ноги ломали, что, кроме дятлов, и птицы-то никакой не водилось. И пасеки исчезнут, потому что не станет кипрея. Останутся только зола и уголь. Затянется дерном, мхом, слоем павшей листвы, но останется. Когда Заварзин копал омшаник, на глубине больше метра наткнулся на толстый слой угля и золы. Долго перебирал его руками, тер в ладонях и даже углем писать попробовал. Уголь писал и на вид был совсем свежим... И тогда еще Василий Тимофеевич сделал печальный вывод, что у этого куста, у этой крошечки земли, вечная судьба: гибнуть от напастей, гореть в огне и вообще считаться местом глухим и проклятым.

Но что за чудо! Эта глухая, мертвая земля вдруг обернулась великим благом, родила богатство для здешних мест невиданное – мед. Говорят же: не было бы счастья, да несчастье помогло.

Под эти старые, как дорога, но хорошие мысли Заварзин отмахал километров пять. Артюша никак не хотел расставаться с пилой, считая, что медведь-оборотень, который следит за ними, обязательно ее упрет и уж наверняка утащил роевню, оставленную Заварзиным на дороге. И теперь Артюша заигрался. То и дело останавливался, распиливал и откатывал, освобождая путь, упавшие на дорогу сухостойны, ворчал при этом, что валежник – тоже работа медведя: ходит и валит, чтоб людям напакостить.

Кедровники кончились, и потянулись сосновые посадки, до сей поры холимые Стремянским лесничеством. Года два прошло, как закрыли кордон в Яранке, который держали только из-за полусотни гектаров сосняка. Пожалуй, и сейчас бы держали, да яранский лесник утонул в половодье, другого же на его место в Стремянке не нашлось. Это ведь надо целое лето пожары

тушить, а летом страда у всех – пасеки. С тех пор дед Ощепкин жил в Яранке один. И вот, говорят, пропал...

Оставалось три поворота до конца посадок. Дальше шли заросшие осинником пойменные яранские поля. Однако за следующим же поворотом посадок не оказалось. Точнее, весь молодой сосняк по обе стороны дороги был начисто вырублен и сложен в кучи. Василий Тимофеевич глазам своим не поверил. Он свернул на обочину, потрогал руками высокий, в руку толщиной, пенек. Рубил кто-то неумело, тяпал топором вкривь, часто, когда такое деревце можно снести одним махом. Ровные ряды пней тянулись насколько хватало глаз, и все свежее.

– Артемий! – крикнул он. – Ты посмотри, посмотри-ка!

Прибежал Артюша с пилой, вытаращил глаза.

– Ишь нарубил-то скоко! Как литовкой скосил! И дорогу позавалил.

– Да иди ты... – выругался Заварзин. – Видишь – рублено? Медведь тебе рубить станет?

– А что? – не смутился Артюша. – Оборотно-то раз плюнуть. Взял топор – и дуй не стой... Говорю же, пуговку зарядить, медную, и пуговкой его стрелить.

Заварзин отмахнулся и зашагал по вырубке. Вспомнил, как в его председательство обязали поднять население на лесопосадки. И он поднимал, от стариков до школьников – всех, вывозил на гарь, нарезал план – от сих до сих, хлопотал, чтоб обед вовремя привезли, чтоб лопаты у всех были. Стремянские тогда еще выходили дружно: в лес шли, из лесу пели, как в колхозные времена. Потом ходили полоть осинник, но уже без охоты – пасеки в Стремянке росли как грибы. А уж прореживать выдувшиеся в человеческий рост сосняки никого силком затянуть было невозможно.

Заварзин шел в предчувствии беды. Накипало раздражение и тихая злость: кто распорядился рубить? Кто позволил? Да и зачем рубить? Только-только зарастать стало!..

Он резко обернулся. По дороге, волоча пилу, бежал Артюша с широко разинутым ртом.

– Батя-а! – орал он. – Пожар! Пожар чую-ю-у!

– Где? – Заварзин огляделся, нюхнул воздух. – Чего орешь?

Артюша потянул ноздрями воздух, указал вперед:

– Там! Дым – нюхай! Ну?

Дымом еще не пахло. Разве что чуткий нос бывшего пожарного уловил его; однако в стороне Яранки поднимался черный дымный столб и уже плющился, закручиваясь в грибок.

Артюша бросил пилу и тяжело забуцкал сапогами по дороге. Заварзин, помедлив, побегал следом.

Яранка, основанная вятскими переселенцами, строилась единожды и навеки. Изголодавшиеся по дармовой земле и лесу мужики рубили избы с размахом, с расчетом на крепкое хозяйство и большую семью. Венцы чуть ли не в два обхвата, и поглядеть-то страшно, не то что строить из такого леса. Восемь – десять венцов – и изба. Да не пришлось Яранке стоять вечно. Как только закрылся в Стремянке леспромхоз, пропала и Яранка. Ее жители поехали в райцентр. А избы все еще стояли вдоль единственной яранской улицы и печально смотрели на дорогу глазами окон, как пожившие на свете вдовы.

Каждый год деревню опахивали двойной полосой, и вовсе не от желания уберечь ее от пожара, а скорее по привычке, и дед Ощепкин сажал на этой пахоте картошку.

Когда Заварзин с Артюшей достигли старой яранской поскотины, начало смеркаться. Дымный столб посерел, окрасился снизу багровыми отсветами, и стало ясно, что горит дом, причем Василий Тимофеевич на бегу рассчитал, чей это мог быть дом – Ивана Малышева. Горело наискосок от клуба, где последние годы лесхоз вязал метлы. А сам клуб стоял в кедровой роще, когда-то спасенной от шелкопряда, и отблески пожара отсвечивались теперь в ее темных кронах.

Артюша запалился, дышал тяжело, закровенели выпуклые глаза. На мгновение Заварзину показалось, что Артюша и впрямь ненормальный, точнее, не тихий дурачок – а буйный, сумасшедший. Стало не по себе. Василий Тимофеевич машинально приотстал, сдвинул топор на бок, спрятал от глаз Артюши. Однако тот обернулся, проговорил просительно:

– Бать, ты к деду беги, может, багор даст. Или ведра.

И сразу отлегло. Тем более вспомнилось, как учитель Вежин однажды говорил, что человек испокон веков боится огня и при виде его будто дичает, будто в нем просыпаются древние инстинкты: он либо бежит, либо прячется. И будто огонь сделал человека человеком...

До пожара оставалось метров сто, когда Заварзин неожиданно увидел возле пылающего дома толпу народа. Люди бегали, сустились, и появление их было настолько внезапным, что Заварзин приостановился, пошел шагом. А Артюша за-смеялся, закричал радостно:

– Батя! Ведь избу-то тушат! Тушат!

– Народ-то откуда? – удивился Заварзин и тоже засмеялся, натянуто, так, что скулы свело.

Они подходили не спеша, и с каждым шагом Заварзин чувствовал, как эта дурацкая улыбка на его лице растягивает рот, щеки, ломит челюсть: люди на пожаре делали что-то странное, пугающее, непривычное. Они плясали на освещенной огнем улице, вернее, беспорядочно прыгали, орали и хохотали. Откуда-то из сумерек, густых от огня, подобно треску пылающих сосновых бревен и в такт ему, гремели барабаны, кто-то пел голосом злым и отчаянным. Всё это сплеталось, скручивалось в единый шум, треск и дребезг, рвалось в небо вместе с дымом и искрящимся пламенем.

Заварзин остановился, в глазах прыгало огненное пятно.

– Артемий! – позвал он. – Артемий!

И увидел Артюшу в освещенном кругу. Он метался среди толпы и командовал:

– Багры! Чего встали? Бегом за баграми! Ведра? Где ведра?!

Ликующий шум чуть угас – Артюша пихал руками танцующих, буравил толпу, смешивал ее, и звуки песни полыхнули громче. Изба теперь объялась пламенем от нижнего венца до крыши, из пустых окон выкатывались бурые клубы огня.

– Раскатывать! – орал Артюша. – С крыши раскатывать! Рубить заборы! Быстрее!.. Где лопаты? С лопатами ко мне!

Василий Тимофеевич опомнился, сморгнул наконец пятно в глазах – будто от наваждения избавился. И эта дикая пляска людей и огня стала реальной: он ощутил жар от пламени, увидел перед собой лица парней, заметил розовенькое девчоночье личико – всем лет по пятнадцать-шестнадцать. И разобрал слова песни, несущиеся из невидимых и мощных репродукторов:

Снова поворот!

Что он нам несет?..

– С ведрами – на избы! – колобродил в толпе и командовал Артюша. – Чтоб не перекинулось!.. Траву! Траву с огорода тушить!

Заварзин инстинктивно послушался, бросился в заросли лебеды и крапивы: там уже вспыхнул очажок, лизнул прошлогодний быльник. Затапав его ногами, он побежал к провисшей городьбе, выхватил топор. Сухие осиновые жерди брыкались под ударами, пружинили, прясло само собой рухнуло. Заварзин выпустил топор, оттащил пролет вместе с кольями и вязами на дорогу.

Между тем Артюша куда-то исчез из круга танцующих, парни сбились плотнее, прыгали азартно, самозабвенно, и кто-то уже стаскивал рубаху – жарко! Несколько голых спин с выпирающими крылышками лопаток дергались перед глазами и поблескивали от пота. Рев пламени сливался с ревом динамиков.

Снова поворот!
Что он нам несет?..

В центре плясала тоненькая девочка с волосами, повязанными тесьмой, а возле – два парня: высокий, рыжий, в маечке с какими-то надписями, и очкарик в голубой рубашке с черной лентой вместо галстука. Один танцевал с размахом, вертелся на месте, наступал на девочку и что-то все кричал, напрягая узкое горло; другой, наоборот, двигался скромно, делал короткие, но резкие взмахи руками, головой, так что лента на шее моталась в разные стороны. Вокруг этой троицы на некотором расстоянии колготились все остальные. Зрелище это каким-то странным образом притягивало, даже завораживало, поскольку Заварзин ничего подобного никогда не видел. Пожары на его веку случались так часто, что на растерянность и панику не уходило ни единой минуты. Несчастье обрушивалось, как всегда, внезапно, однако привыкшие к огню сельчане без особых команд знали, что делать: спасали ребятишек, выводили скот, вытаскивали добро из избы и тушили. Все, от мала до велика.

Музыка наконец оборвалась. Заварзин бросился в круг.

– Сгорит же деревня! – крикнул он. – Тушить, тушить надо!

Но ребята, продолжая танцевать без музыки, закричали что-то не по-русски, засмеялись и начали скандировать:

– Жо-кэй! Жо-кэй!..

Очкарик с тесьмой на шее нырнул куда-то из освещенного круга, все захлопали от радости, когда из динамиков раздался картавящий мальчишеский голос, совсем еще детский, но речь была нерусская, курлыкающая. Рыжий с девочкой словно не замечали окружающих, танцевали друг перед другом под треск и гул пламени.

– Ребята! Да вы что?.. – Василий Тимофеевич осекся: яростный барабанный бой заглушил даже треск огня. И вместе с боем вдруг заворочалась и, рассыпаясь искрами, рухнула крыша избы. Ликующий возглас взвихрился над танцующими, а в круг снова выскочил парень в очках, и все закружилось, завертелось перед глазами Заварзина.

Заварзин растерялся, хуже того, почувствовал, как знобящий страх стянул кожу на затылке. Огонь казался неудержимым, еще мгновение – перекинется на соседние, освещенные крыши изб и пойдет пластать по всей деревне. А еще вдруг понял, что эти люди не слышат его и кричать бесполезно, поэтому он заметался среди них, хватая за руки, натыкаясь на плечи, но так никого и не схватил. Танцующие ускользали, увертывались, так что Заварзин пробежал сквозь толпу будто сквозь пустое место.

Он что-то кричал, сам не понимая что и не слыша своего голоса. Его не замечали. Барабанная дробь и блеск пламени, казалось, ослепили и оглушили всех. Скорее всего танцующие не видели и друг друга...

Пройдя сквозь этот водоворот, Заварзин снова оказался в темноте и тут наткнулся на какие-то приборы с зелеными и красными огоньками, пристроенные на перевернутом посудном шкафу. По обе стороны от них в некотором удалении друг от друга на траве стояли два дребезжащих от напряжения черных ящика, конвульсивно изрыгавших нацеленные в толпу звуки. Стоя спиной к пожару, он видел длинные, ломающиеся в такт звукам тени на земле и на стволах толстых кедров во дворе старого клуба. А дальше, насколько хватало глаз, медленно и зловеще шевелились отблески огня.

На мгновение он оглянулся. Потом инстинктивно, словно обнаружив источник бедствия, рывком опрокинул шкаф с приборами, расшвырял гудящие черные ящики, и миг стало тихо. Лишь с треском и шорохом стонал пожар.

И сразу отхлынул холодок страха, горячий ветер пахнул в лицо. Разогретые люди в толпе еще плясали, но кто-то начинал кричать:

– Жо-кэй! Жо-кэй!..

Расталкивая парней, Василий Тимофеевич вышел из темноты. Артюша выворачивал лопатой комья слежавшейся земли и метал, метал в огонь, норовя попасть в самую его гущу.

– Жо-кэй! – снова закричали парни. – Жо-кэй!

И захлопали в ладоши. Очкарик танцевал возле девочки, и, похоже, ему не хотелось оставлять ее наедине с рыжим. Однако толпа скандировала все громче и настойчивей, танец увял, парни в нетерпении топтались на месте.

– Вы что же делаете?! – спросил Заварзин, показывая на горящую избу. – Ведь тушить надо! Тушить! Сгорим к чертовой матери! Ну?!

Его наконец заметили, уже никто не танцевал, только девочка никак не могла остановиться.

– Что, оглохли?! – разъярился Василий Тимофеевич, наступая на рыжего. – А ну-ка быстро ведра, лопаты!..

Он не успел договорить, потому что толпа сначала разредилась, колыхнувшись в сторону, затем сгрудилась, и раздались возмущенные голоса:

– Аппаратура!

– Разбили аппаратуру!

Откуда-то вывернулся очкарик, блеснул багровыми стеклами перед самым лицом Заварзина.

– Скоты, – услышал Василий Тимофеевич брошенное сквозь зубы слово.

И тут же надвинулся рыжий, однако Заварзин легко оттолкнул его и шагнул к Артюше. Толпа уплотнялась, таращилась на них; девочка наконец перестала танцевать, оказавшись совсем рядом с Заварзиным. Вдруг кто-то зацепил его за плечо, и в следующий миг Василий Тимофеевич вновь близко увидел лицо рыжего.

– Ну, что встали-то?! – закричал Заварзин. – Всем тушить! Кто у вас старший? Ты?!

Он схватил рыжего за рукав майки, потянул в сторону. Рыжий вывернулся, отмахнулся.

– Командир! – уже чуть не плакал кто-то в толпе. – Аппаратуру вдребезги!

Круг становился теснее, задние напирали; девочка смотрела без испуга, с любопытством, рядом с ней оказался очкарик.

Горящая изба с грохотом осела, взметнув фейерверк искр, жар становился нестерпимым.

– Кому говорят?! – Заварзин снова поймал рыжего. – А ну живо за ведрами!

– Кто такой? – закричал тот, вырываясь. – Пош-шел!.. Руки! – И ударил Заварзина по руке.

Майка от резкого рывка растянулась и треснула.

– Ах ты, сопля зеленая! Я тебе покажу, кто такой! – рассердился не на шутку Заварзин.

– Команди-и-ир!! – орали в толпе.

– Врежь ему, командир!!

Рыжего будто подтолкнули, и он прыгнул на Заварзина, целя кулаком в лицо, но промахнулся. Заварзин отшвырнул его и в тот же миг услышал залиvistый смех девочки. Рядом с ней поблескивал очками парень с тесьмой на шее. Толпа, замерев на мгновение, разом выдохнула, и гул голосов спутался с гулом и треском пожара. Заварзин обернулся на крик и увидел, что Артюшу оттаскивают от пылающей избы, выворачивая из рук лопату, устремился было к нему, но перед лицом вновь оказался рыжий, глаза его горели яростью, ноздри раздувались...

А за спиной все еще смеялась девочка.

Кто-то сбоку рванул Заварзина за плечо, и в тот же момент он ощутил удар в ухо; качнулась голова.

– Да я вас! – заорал он, бросаясь вперед, к огню, и расталкивая парней. – На кого лезешь, мелочь пузатая! А ну – кыш!..

Заварзин отмахивался от наседающих сзади, однако парни наваливались с трех сторон, уже трещал на плечах пиджак и рвалась на груди рубаша. Он пытался дотянуться кулаком до рыжего, но тот ускользал, мельтеша перед глазами...

Потом все было как во сне. Заварзин снова увидел Артюшу, который вырвался от парней и опять бросал землю в огонь, будто уголь в топку. Василий Тимофеевич от кого-то отбивался, отмахивался, чуя несильные, но частые удары со всех сторон. Он прорывался к Артюше, а тот словно отдалялся, изредка возникая в толпе с лопатой наперевес.

И во всей этой свалке и бестолковой суете Заварзину все время чудился звонкий девичий смех.

Затем Артюша оказался совсем рядом, но уже без лопаты. Его били по спине, тянули за руки, рвали на нем одежду.

– Сволочи!! Вы что?! – кричал Заварзин.

Артюша упал, зажимая руками живот. Заварзин продирался к нему в круг, разбрасывая плотную, орущую стаю. Пробился, схватил Артюшу под мышки, стал поднимать, но в этот момент в глазах его полыхнуло красное зарево, брызнули искры. Он выронил Артюшу, присел, отупев от удара чем-то тяжелым, закрыл руками чужее лицо...

...Их привязали к кедром возле клуба. Рядом с Заварзиным, в четырех шагах, висел на веревках обмякший Артюша.

– Батя-а, – жалобно звал он, – что делать-то будут, батя-а?..

Василий Тимофеевич будто от сна стряхнулся, опаматовавшись после драки. Явь была не менее жуткой. Зарево пожара высвечивало пол-Яранки, и казалось: оставшиеся в живых избы сгрудились к огню и теперь пугливо таращатся на него пустыми глазницами черных окон. С неба тихо опадал пепел, еще горячий, когда сыпал в лицо, обжигал.

И парни, тоже словно очнувшись, вдруг увидели перед собой двух привязанных к деревьям мужиков и несколько растерялись, поскольку происходящее уже не походило на игру-забаву. Они боялись зайти далеко в этой игре и теперь озирались, нерешительно топтались на месте, словно ждали команды.

– Батя-а, – все тянул Артюша. – Нас, поди, убивать будут? Если убивать, давай попрощаемся...

– Не убьют, Артемий, – сказал ему Заварзин. – Кишка тонка, потерпи.

А рыжий тем временем сцепился с очкариком: насакивали друг на друга, кричали яростно, одержимо, и это тоже пугало настороженную толпу.

– Ну, все, дергай отсюда! – Майка на рыжем держалась на одной лямке. – Я все сказал!

– Да пошел ты!.. – блистал очками парень с тесьмой на шее, перехватывавшей горло. – Я жокей, понял? Жокей! А ты, фуфло, там командуй! – И неопределенно кивал куда-то в сторону.

Рыжий горячился, махал руками, но сделать, похоже, ничего не мог.

– Ты у меня завтра помрешь на работе! Я тебе фазы замкну!

– Ну все, от винта! – резал очкарик. – Я делаю аппаратуру, и танцуем!

Он стремительно исчез в темноте, оставив рыжего между парнями и привязанными мужиками. Тот мгновение был в замешательстве, но быстро справился с собой, сдернул разорванную маечку и подскочил к Заварзину.

За спинами притихшей толпы рвались в небо клубы огня, рушились стены и вырастала из пламени высокая черная печь. Девочка, прикрывая от жара лицо, ходила возле пожара и, неловко замахиваясь, бросала в огонь щепки и палочки.

– Ну, заплатишь мне! – процедил рыжий, безбоязненно выставившись перед Василием Тимофеевичем. – За все с тебя получу!

Без маечки был он вовсе худеньким, узкоплечим и оттого казался длинным, тонким и каким-то бледным, словно выросшая под кирпичом, но так и не пробившаяся к свету трава.

– Это ты заплатишь, сопляк! – Заварзин плюнул. – И за избу, и за пожар! Щенки... Вы что жжете? Вы строили, чтоб жечь?!

Рыжий в ответ усмехнулся, поймал на лету брошенную из толпы фуражку и насадил ее на голову Артюши.

– Лысинку простудишь!..

– Не трогай его! – крикнул Заварзин. – Он больной человек!

– Я вас не би-ил, – протянул плаксиво Артюша. – Я пожар тушил...

– А кто тебя просил? – взвился рыжий и приподнял кулаком за подбородок голову Артюши. – Мы отдыхали, понял? После работы отдыхали и никому не мешали!

– Дак горело же, – чуть не плакал тот. – Изба ж горела...

Заварзин подергался, расслабляя веревки, попытался вырваться, но освободил только одну руку.

– Не трогай, сказал! – заорал Василий Тимофеевич. – Уйди от него!

Заварзин спохватился: где же Ощепкин? Огляделся, всматриваясь в тьму. Старик жил на самом конце деревни и наверняка слышал бы все, что здесь происходит. Неужто до сих пор не появлялся в Яранке?..

Внезапно вернулся жокей-очкарик, встал перед рыжим, уперев руки в боки.

– Мы устроим моральный суд, – спокойно сказал очкарик. – Мы имеем на это право. Верно?

Парни одобрительно зашумели, сомкнулись плечами, подступая к деревьям.

– Верно!

– Обоим еще по роже! И напинать!

– Вечер испортили!

– Аппаратура!..

– Никакого суда я не допущу! – звенящим голосом выкрикнул рыжий. – Пускай милиция разбирается! Мы задержали их, и все! Отставить разговоры!

– Да вас самих под суд! – Заварзин дернулся. – Вы что творите, сволочи?!

– Батя-а! – звал Артюша. – Бать!..

– Между прочим, мы – несовершеннолетние, понял? – Рыжийдохнул Заварзину в лицо. – Трудовой десант!.. Знаешь, что за это бывает? Благодарю, что толпе вас не отдам!

– Ты не отдашь? – возмутился очкарик. – А мы сами судить будем. Общество требует!

– Жокей! – кричали ему. – Жокей! Долой командира!

– Анархии я не позволю! – резко приказал рыжий. – Вадим спросит с меня! А не с вас!.. Отвязать их и запереть в бане. До утра! Все слышали?

Парни чуть притихли. Лиц их ни Заварзину, ни рыжему не было видно, только подсвеченные пламенем ежики волос на головах и красные оттопыренные уши. Жокей-очкарик прошел сквозь толпу, расступившуюся перед ним, и встал возле девочки.

– Что мы делаем, ребята? – неожиданно спросил из толпы чей-то голос. – Нам же самим влетит за них! Мы же их били... Их дом сожгли! Надо отпустить! Слышишь, командир? Отпустить надо...

– Я сказал, до утра запереть в баню! – прикрикнул рыжий. – Что встали? Непонятно?

Ребята окружили кедры, стали отвязывать пленников, путаясь в веревках. Заварзин пытался поймать хотя бы один взгляд и не мог. Лица парнишек были одинаково красными от пожара и слегка испуганными. На какой-то миг Заварзин оказался свободным – веревка спала с плеч, – и можно было, отбросив с пути грузного парня, бежать в темноту, но в четырех шагах от него был Артюша. Он упирался и не хотел идти, махал связанными впереди руками.

– Батя! – звал он. – Батя! Нас в огонь ведут? В огонь?

– Не бойся, Артемий! – Заварзин не сопротивлялся. – В огонь не поведут! Ты не противься, иди, а то снова бить будут.

Их повели по заросшему бурьяном огороду к бане Ивана Малышева. Открыли дверь, подтолкнули в черный, пахнувший банной гнилью низкий проем. Слышно было, как дверь чем-то приперли и ушли. Заварзин нащупал в темноте скамейку, усадил Артюшу и развязал ему руки. Дождавшись, когда возле бани все стихнет, он потрогал дверь, налег на нее плечом – запор не поддавался.

– Советую не дергаться, – вдруг раздался голос рыжего. – Посидите и подумайте, за что вас ребята судить хотели.

Заварзин с силой пнул дверь.

– погоди, змееныш! Отрыгнется тебе эта изба!

Рыжий не ответил, обошел баню кругом и, похоже, удалился к огню. Заварзин выглянул в низкое оконце – темнота, и лишь отблески пожара на молодых кедрках за огородом. Тогда он залез на полку и ощупал стену: где-то должна быть отдушина, обязательная для бани по-черному. Нашарил ссохшийся ком тряпья, выдернул его и сразу увидел пылающий дом Ивана Малышева. Ребята колобродили возле пожара, и теперь их лица можно было бы рассмотреть, если бы не ломило заплывающий глаз. Один из парней, подобрав Артюшину лопату, швырял в огонь землю, не обращая внимания на шум вокруг. Но тушить уже было бесполезно, да и нечего. Черная печь, словно увеличившись в размерах, стояла среди огня единственно целой и никак не пострадавшей. Из трубы, венчанной старым ведром без дна, вырывался дым с языками пламени.

И вдруг ожили динамики, в мгновение всколыхнув толпу.

Через минуту вновь начались танцы. Над Яранкой гремела музыка, и все будто забыли, что произошло здесь недавно, и про пленников забыли. Догорающая изба выплескивала яростные вихри огня, искрила, рушилась, и танцы были такими же яростными. В отблесках пламени сверкали потные лица ребят, вскинутые руки, мокрые рубашонки на худых спинах. Музыка тоже походила на пожар – что-то гремело, звенело, рассыпалось, будто горох по полу, и гул ее свивался с огнем. Артюша ничего этого не слышал и не видел. Через несколько минут, после того как их заперли в бане, он растянулся на лавке и уснул. Потом даже захрапел разбитым носом. «Поспит – легче будет», – подумал Василий Тимофеевич.

Около часа парни прыгали под музыку и треск огня. Заварзин слышал еще какие-то нерусские песни, которые пел хриплый и ревущий голос. Только в одной он разобрал слова, вернее, странный какой-то припев. «Все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, а он горит!» – говорилось в нем, и это было потому еще понятно, что парни словно бежали на месте, а изба Малышева горела. Можно было, пока они плясали там, поискать какую-нибудь дыру, вышибить скамейкой дверь и уйти, но весь этот ор и буря пожара до какого-то навязчивого оцепенения притягивали внимание. Заварзин думал обо всем и одновременно, кажется, ни о чем. Разбитый глаз затекал кровью, другой припухал, а он думал, не в силах оторвать взгляда от огня и танцующих возле него людей. Он, пожалуй бы, поверил, что все это сон или кино, если бы не горела изба Ивана Малышева и не храпел рядом избитый Артюша...

Вдруг он снова начал жалеть улетевший рой, думал о том, кто поставил улей на чужой земле. А то вспоминал вырубленный сосняк и тут же бросался к низкому окошку, вглядываясь в темень ночи. Где-то на окраине Яранки должен стоять дом старика Ощепкина.

Значит, не вернулся старик. И куда только мог пропасть? Пасеку свою бросил, скотину... Если б не пропал, так уж точно пришел бы. Чего-чего, а любопытства у него, как у худой бабы, за что и настрадался старик по уши. В двадцатом году, рассказывали, когда банда Олиферова отступала в Монголию, то путь ее лег через Яранку. Здесь олиферовцы поменяли часть своих коней, набрали продуктов и, перед тем как уйти, на прощание устроили экзекуцию – стали сечь активистов и мужиков, которые не дали им фуража.

Ощепкин трех своих коней «выменял» на загнанных кляч, овес дочиста выгреб и решил после этого, что заслужил быть в первых рядах – смотреть, как драть будут неподчинившихся

мужиков. Протолкался сквозь толпу, выставился перед скамьями, на которых бесштаные мужики лежали. Молодой был, умишка не хватало. Офицер увидел его, спрашивает: мол, чего выставился?

– Да вот поглядеть хочу, как дерут, – простодушно бухнул он.

Офицер махнул рукой, казаки схватили Ощепкина, содрали штаны и, разложив на лавке, высекли розгами. Да мало того, взвалили на него станину от пулемета и заставили тащить. Восемь дней Ощепкин пер станину по тайге и «отступал» вместе с бандой. На девятую ночь завязалась какая-то перестрелка, и он под шумок сбежал. Пришел домой – два месяца отлеживался. И олиферовские лошади отлеживались. Все хозяйство едва к весне на ноги встало.

А в тридцатых, когда в Стремянке и Яранке организовали колхозы и все население до единого двора вошло в новую жизнь, Ощепкин присоединиться не пожелал.

– Я погожу, – сказал. – У меня хозяйство самое крепкое, и так проживу. Я на вашу коммуну насмотрелся, в колхоз не тянет.

А в хозяйстве у него была корова да две клячи, тех самых, олиферовских, доживающих свой век. Одним словом, такая же голь, что и колхозники. Но у последних-то на дворе одни куры остались, а у этого – какая ни есть, а скотина. Тут как раз началась классовая борьба на селе, слышно, в одном, в другом месте раскулачивают. Приехал и в Яранку уполномоченный с кулаками бороться, колхозников поднимать. Собрались, судили-рядили, кого бы раскулачить, и вышло, что некого. Ни одного кулацкого хозяйства на две деревни. Ощепкин дома сидел, а как народ собрался – не вытерпел, не сдержался, пришел глянуть, кого раскулачивать да ссылают будут. Встал в задних рядах и слушает. Здесь-то его и заметил Артюшин дед, старик Голощапов. Тогда он активистом был, приехал из Стремянки на собрание.

– Робяты! Ощепкин-то! Ощепкин-то!

И сразу о нем все вспомнили и припомнили все. Даже то, что он будто в олиферовской банде служил. Ощепкин рубаху закатал, уполномоченному спину показывает, тыча в нее пальцем: какой же я бандит? Какой же я кулак? А старик Голощапов все одно орет и народ баламутит. «Ведь на скамейках-то рядом лежали, – кричал Ощепкин, – и порол один казак!»

Короче, раскалили кержака, он и полез в драку на активиста стремянского. Легонько-то и сунул ему в нос, а у того юшка ручьем. Ощепкина связали и отправили в кутузку, хозяйство – коней и корову – свели на колхозный двор. Ощепкин из кутузки поехал в ссылку – на голый берег реки, куда свозили местных кулаков...

...Да напрасно на сей раз Заварзин ждал его и даже окликал тихонько, выдавив стекло в банном окошке. На миг почудилось, что на другом конце деревни, как раз там, где жил старик, забрезжил смутный огонек. Но то был отблеск пожара... Разбудить бы Артюшу – у него глаз острый, да жаль тревожить.

Изба Ивана Малышева почти догорела. Парни ушли спать в клуб, убрали музыку, смотали провода и заглушили движок, который стрекотал в траве недалеко от бани. Рыжий остался с девчонкой возле пылающих жаром головней. Они походили вокруг, вроде поругались, и девочка убежала, а рыжий направился к бане, включив карманный фонарик. Заварзин отпрянул от отдушины и сел на лавку. Парень посветил в баню через окошко, обшарил лучом стены, Заварзина и, когда увидел спящего Артюшу, спросил с детским испугом в голосе:

– А что он?

– Умер, вот что! – рявкнул Заварзин. – Убили вы его!

Рыжий секунду молчал. Лица его не было видно, свет фонаря резал глаза. Артюша заворочался, всхрапнул.

– Сидеть до утра, пока Вадим Николаевич не придет, – спокойно произнес самозванный тюремщик, погасив фонарь. И ушел.

Но едва затихли его шаги и пропало мельканье луча фонарика, как откуда-то вынырнули парень в очках и та самая девочка. Они постояли возле пожарища, огляделись и пошли к бане. Заварзин услышал, как отлетел запор двери, похоже, бревно.

– Уходите, – сказал очкарик, открыв дверь. – Только не поднимайте шороха. Я вас не видел.

Артюша мгновенно проснулся, сел.

– Быстро, быстро! – торопил парень, поблескивая очками. – Все, исчезли!

Он схватил девочку за руку, и они побежали к пылающим головням.

Заварзин подтолкнул Артюшу к двери...

Дом Ощепкина стоял в темноте черным кубом: крыша у него завалилась, и, чтобы не поднимать стропила, старик покрыл ее сверху рубероидом.

В окнах ни огонька. Заварзин подошел к добротным крытым воротам, поднял руку, чтобы толкнуть калитку, но та внезапно открылась сама. Заварзин отшатнулся.

За калиткой стоял дед Ощепкин – бородатый, по кержацкому обычаю, старик, так что спутать его было невозможно.

– Ну, заходите, чего ж, – сказал он, будто ждал давно и окна проглядел. – Не на улице ж ночевать.

Заварзин с Артюшей ступили во двор. Старик заложил калитку на засов, свистнул и привязал черного кобеля.

– Ну, дед, что с нами было-то, – начал Заварзин, присматриваясь к старику, однако тот ворчливо оборвал:

– Знаю я, что было... Нечего шастать ночами. Добрые люди спят.

Он смерил взглядом Артюшу. Тот почему-то засмеялся разбитым лицом.

– Этот так с тобой и ходит?

– Со мной. Куда ж ему?

Старик повел их в избу. А в избе, оказалось, горит маленькая керосинка, только окна занавешены старыми солдатскими одеялами, которые лесхоз оставил Ощепкину на летнее хранение. Заварзин оглядел избу: все побелено, прибрано, на полу – домотканые дорожки, на столе – новая скатерть. Артюша сел на порог.

– Вот так и живем, – проронил дед Ощепкин, скидывая опорки пимов. – Коль помыться, так вон, – кивнул на занавеску. – А то больно красивые...

– Так разукрасили! – выругался Заварзин.

Артюша, не вставая с порога, вытащил из угла двухстволку и просиял:

– Батя! Вот бы пуговицей-то зарядить да стрелить его!

– Не трогай! – обрезал старик. – Заряжено!

Артюша сунул ружье назад, съежился. В этот момент в горнице протяжно заскрипела деревянная кровать – Заварзин насторожился, замерев с вопросом на лице.

– Старуха моя, – понял и объяснил дед. – Не спит, мается...

– Так она же... – пролепетал Заварзин.

– Что – она же? Что?.. Я другую привел. Взял и привел. – Старик поставил на стол деревянную чашку с хлебом, потянул из печи чугунок. – Мне что, в эдаком месте одному жить?.. Кому оно, такое житье?.. Раз бог смерти не дает... Старуха? – окликнул.

– Ой! – донеслось из горницы. – Выхожу я, выхожу...

– Встретил я их, покорми, что ли... Пришли – мать родная не узнает.

Из горницы вышла старушка лет за шестьдесят, проворно захлопотала у печи.

– Да не хочется ужинать-то, и поздно, – сказал Заварзин. – Нам бы до утра... Что же делается, а? Ведь дома жгут, хулиганничают.

– Каждый день по одной избе палат, – согласился старик. – Мы, говорят, все по технике безопасности, не бойся. Трудовой десант, сказывают. Работнички.

– Так что делается-то? Почто избы жгут?

– У тебя бы надо спросить. – Старик перекрестился. – Ты бывший председатель, депутат... Приехали пашню чистить, из города пригнали. Школьники, говорят, а мне сдается – каторжные. Или еще чище... – И вдруг закричал: – Говорил я, говорил! Верно в святых писаниях сказано: отроки, аки диаволы станут! Отчий кров подожгут и плясать у огня будут! Вот оно – дожились! Светопреставление начинается.

Старушка мелко-мелко перекрестилась в угол, прошептала молитву. Заварзин заметил – крестилась двоеперстием. Значит, снова дед Ощепкин ездил за тридевять земель в кержацкие деревни и высватал себе единовверку. Первых двух после смерти жены он привозил оттуда же.

Артюша от его крика вздрогнул, покрутил головой и, откинувшись к косяку, захрапел. Старик бросил на пол тулуп, свернул под голову фуфайку, тронул Артюшу за плечо:

– Ступай, ложись вон...

Артюша перебрался на тулуп и, собравшись в комок, уснул. Дед Ощепкин постоял над ним, посмотрел на разбитое, заплывающее лицо.

– Дед-то его, покойничек, упек меня, – ворчал он. – Эх... Вот оно, божье наказание. А ты с меня спросил, почто жгут... Сходи да спроси сам... Им вроде приказано избы сломать, говорят, каменные ставить будут. А ломать – работа!.. Тут же спичку сунул, и...

Старик прошлепал босыми ногами по половицам, скрылся в горнице. Заварзин взял кружку со сбитнем, отхлебнул – аппетита не было. Старушка склонилась к нему, зашептала:

– Сердитый он, сердитый. Ты уж не трогай его, помолчи. Пускай отойдет. Шибко он разволновался, зубьями всю ноченьку скрипит. Видано ли – днем и ночью запершись сидеть?.. Жуткое у вас место. Коль знала – не поехала бы...

Она отшатнулась, торопливо поправила скатерть, смахнула что-то; из горницы вышел старик.

– А ведь из-за вас все, из-за вас, – сказал он и сел, скрючив босые ноги. – Ваши стремянские разбогатели, так наплевать стало: жгут – не жгут... А балбесы аки волю почуяли, вот и творят. Прижать бы их, да некому. Я старый, чтоб с ними воевать. Вы теперь – миллионеры, вон каких теремов наставили! Что вам изба...

Заварзин отставил кружку, потрогал разбитую переносицу. Миллионеров в Стремянке, конечно, не было, но кое-кто тысяч по восемьдесят – сто имел, если считать все движимое и недвижимое. Пчелы, можно сказать, носили в ульи живые деньги.

– Да ничего, недолго вам панствовать, – проговорил дед Ощепкин. – По моим подсчетам, тютелька осталась: год-другой.

– Я-то что? Я давно хлопотал, чтоб совхоз открыли, пчеловодческий, – сказал Заварзин и поймал себя на том, что оправдывается. – Хлопотал ведь, да никак... – И оборвался на полуслове, ощутив, как лицо растягивает та полуулыбка-полугримаса.

– Совхоз-колхоз... – бурчал Ощепкин. – А слышал – гари распахивать будут? Подчистую! Землю подымать, целину?!

– Слышал, – вздохнул Василий Тимофеевич. – Да, как говорят, курочка в гнезде, а яичко... Скоро ли будет?

– Будет, – протянул старик. – Вот-вот будет. – И добавил добрее: – Сыновья-то твои где? Что-то не видать давно...

– Сыновья мои – ломти отрезанные, – снова вздохнул Заварзин. – Старшие в городе, поскребыш рыбнадзорит... А я с Артюшей вот...

Дед Ощепкин минуту глядел из-под лохматых бровей, гладил бороду заскоруждыми руками.

– Ты б женился, что ли, – посоветовал он. – Молодой еще... Одному жить – волком выть... Тебе сколько нынче?

– Полета седьмой идет...

– Молодо-о-ой... – недовольно протянул Ощепкин. – Потому с ребяташками и дерешься.

Заварзин усмехнулся, опустил голову. Старик терял интерес, разговор не клеился.

– Ладно, – махнул Ощепкин рукой. – Ложись... Токо завтра рано разбужу. Огородами пойдете, чтоб незаметно... На суд подавать будешь? Эко вон морды-то порасквасили, варнаки, к деревьям привязывали... Если подашь, я в свидетели не пойду. Хоть мы с тобой в друзьях были – не пойду. Мне тут жить со старухой. А им дадут по году с условием, поотпускают – они и меня спалят. За то, что доказал. В ранешное время на каторгу бы загнали. Нынче не загонят, простят... Строгости не стало.

– Вечный ты, что ли, Мефодий? – неожиданно спросил Заварзин. – Или с того света являешься?

– Все еще на этом свете живу, – не сразу откликнулся Ощепкин. – Я чуть токо моложе Алешки Забелина. Двое мы с ним остались, старые-то такие. И жить охота... А твоего деда помню, Федора. Крутой мужик был...

Заварзин глянул на старика: живые, блестящие глаза смотрели прямо, сурово и с болью.

– Не гляди так, – сказал Ощепкин. – Грех на душу приму – не пойду доказывать. Ты уж не обессудь...

– Батя! Рой идет! Рой! Туча! – закричал во сне Артюша, широко открывая разбитый рот.

3

Вятские – народ больно уж говорливый: станут сказывать, так не переслушаешь всего, слова, будто ручеек, бегут, бегут мимо бережков и эдак напетляют, что забудешь, о чем и речь-то зашла. Иной мужичок, к примеру, про занозу в пальце начнет, да потом такого кругалю даст, что и рот разинешь. Однако к той занозе и придет, и на глазах у тебя послуנית языком, приловчится зубами и выдернет. Тут вроде и сказу конец, но только одному, а другому лишь начало. Заноз-то на руках у вятского мужика считать – не сосчитать...

И что ни слово, то лешак да лешак. Глядишь, и поизлешачился, пока сказывал. Оно и понятно, вятские-то все больше по лесам живут, по ельникам да березникам, а поля у них – шапкой перебросишь. Лешаков-то там, должно быть, под каждым деревом по паре. Они, лешаки-то, тоже послушать любят; сядут эдак, уши развесят и слушают, как их поминают. Плохо ли, хорошо ли – все одно приятно. Как ни говори, душа-то живая...

Кто хаживал по вятским дорогам, тот знает, отчего в сказах человек-то лешачится да петляет. Самой торной дорогой пойдешь, так и то накружишься, намаешься по лесам и увалам, помесишь грязи, похлебаешь мурцовочки. Иной раз целый день вокруг одного места можно ходить, будто и впрямь леший водит. И поля-то здесь меж лесов и болот кружатся да маются, а про реки и говорить нечего. Так уж извертелись, так излукавились – ни начала, ни конца. Над всей этой суетой одни только птицы прямо летали. Поднимутся эдак высоко-высоко, встанут косяком – и подались в места, где посытней и земля потеплей. Летят и говорят, говорят меж собой без конца, будто говорливые вятские мужики. Кто знает, может, и лешачатся на своем языке: ведь что человеку по земле криво ходить, то и птице по небу прямо летать – одна морока.

Сказывают, когда-то вятские-то по Пижме сели, земля больно уж хорошо родила. Сказывают, такая черная была, что иной пахарь за сохой идет и на грачей лаптем ступает. И будто у грачей вокруг носа тогда и побелело, чтоб не топтали его на пашне. Посеют вятские лебеду – рожь вырастет, а рожь посеют – пшеничный хлебушек едят. Горох такой уродился, что бросишь горсть на горшок, и горошницы мужики поедят, потом бабы с ребятишками, а остатки-то по соседям понесут дохлебывать, у кого не варено. Много чего сказывали про старое время. Будто по лесам лешие ходили так лешие – дяди повыше елок, и речка-то Пижма прямехонько текла, от берега веселком ткни – дна не достанешь. Вятские хорошо жили, нужды не ведали, и вольные были, поскольку до царя-батюшки далеко и о его указах тут слухом не слыхивали. А потом лешие-то поизмельчали, речка обмелела, иссутилась, земля родить перестала, и вятские мужики на ней тоже иссутились. Уж как ее ни пахали, как ни бороили, какой околотью ни сеяли – все одно не родит. Никогда крепости не ведали, а хуже крепостных возле нее стали. Земля-то и так и эдак тужилась, все думала прокормить мужиков, и от натуги-то аж краснеть начала. И долго маялась она, пока совсем не ослабла и не исхудала вконец. Но мужики-то все ковыряют ее и сеют, ковыряют и сеют, так что земля от стыда совсем покраснела. А речка Пижма до того стремнистая стала, что вброд не перейдешь. К тому же деревню со всех сторон окружила и давай берега подмывать. В половодье совсем беда – вода поднимется и льет по улицам. Мужики коров на бани подымут, сами с бабами да ребятишками на избы залезут и сидят, пока река не схлынет. Из-за стремнины даже в гости друг к другу не сходить. Сказывают, тогда и назвали вятские свою деревню Стремянкой. Старое же имечко выпало из памяти, хотя иные старики говаривали, мол, по речке деревня звалась, цветочное имя было...

Ну так вот. Погоревали, погоревали вятские и наладились на заработки ходить. Коли по лесам-то жили, топор в руках умели держать. Помолотят хлебушек, какой народился, на мельницу свезут, а потом сартелятся – и подались. В Вятку хаживали, в Нижний Новгород и даже в саму Москву. Теремов да церквей наставили – не считано. Нынче люди-то ходят, глядят

и удивляются, мол, экие мастера были, топором да долотом такую красоту поднимали. Должно быть, каким-то особым секретом владели. А то невдомек, что мастерили-то лапотные вятские мужики с худородных земель, и весь секрет в том, что человеку обязательно надо к чему-то руку приложить, чтобы красота была. Землю ли обиходить, избу ли срубить да украсить... Коли у вятских земля не родила, вот они и ставили красоту по людям да по чужим городам.

Так бы и жили вятские на Пижме, да новая суета случилась, какой и не видывали. Вышел столыпинский указ и всю жизнь-то поперепутал. Пока общество голову ломало, дошлые мужики хутора себе взяли и отошли от Стремянки. Землю-то свою пряслами огородили, куда ни сунься – везде хуторские. То скотину будто бы за потраву загонят, то за дровами в лес не пускают. И эдак озлились на своих же стремянских. Оно и понятно: когда люди-то поодиночке в лесах живут, сами будто лешими делаются. С той поры и пошло: хуторяне богатеют, а общество все больше задницами сверкает.

Лугов на Пижме и так не хватало, скотину, бывало, ржаной соломой кормили, а тут хуторские чуть не все покосы меж собой разобрали и тоже огородили. Глядя на такое неслыханное дело, мужики сломали прясла и косить приступили, потому и распря вышла великая. Обществом-то хуторян одолели, конечно, согнали с лугов и свои стога поставили. Да хуторские после этого будто озверились. Алешку Забелина где-то поймали и едва только насмерть бичами не засекли. Алешка-то ни в чем не виноват, он в то время в городе учился и в Стремянку разве что гостевать к родителям наезжал. Задумчивый он был, Алешка-то, по лесам ходил, цветы нюхал да птиц слушал. Его и бить-то грешно было, как у хуторских рука поднялась? Видно, когда человек в одиночку-то живет, рука у него только на зло подымается, на красоту-то ее не хватает, коротка.

Пока Алешка отлеживался, один хутор ночью загорелся. Хуторянин-то сам тушил-тушил, да и заорал благим матом, а стремянские огонь-то видели, но не побежали тушить. Алешка, когда одыбался, и говорит, мол, все погорим, коли зло на зло творить станем, всем только худо будет. Надо бы уходить отсюда, на новые вольные земли ехать, в Сибирь. Мол, переселенцам и ссуду дают, и по чугунке за казенный счет везут. Мужики сошлись и давай про Сибирь толковать. Вроде и боязно от Пижмы-то отрываться, избу бросать, землю какую ни на есть, но Алешка дело рассказывает: раз уж стенка на стенку с хуторскими пошли, нечего добра ждать. К тому же дозналось начальство, будто Алешкин родитель хуторского-то спалил. Забили родителя в кандалы и погнали не куда-нибудь – в Сибирь. Решило общество послать старика Вежина с Алешкой, чтобы они в Сибири-то хоть место посмотрели да какой там народ разведали. Про Сибирь тогда всяко говорили, будто и лета там не бывает, и солнышко больно уж тусклое, а народ живет – не приведи господь: каторжные со всей России да дикие черные люди.

Долго ездил Алешка и назад-то один вернулся. Старик Вежин по дороге помер, остался лежать в сибирской земле. Алешка с собой пшеничный каравай привез, отогрел у себя на животе да пустил по рукам. Вятские хлебушек ломают и диву даются. Мягонький он, белый, сроду такого не едали. Алешка же про Сибирь толкует, мол, другого там и не едят, лаптей не знают, а вместо подсолнуха кедровые орехи лузгают. И земля там черная, и места хорошие, и народ все больше русский, православный. Которые раньше-то из других губерний переселились, теперь так зажили – рукой не достанешь. Ну, вятские и засобирались. Дворов сорок продали скотину, побросали избы и на казенных подводах в Котельнич поехали, на чугунку. Посадили их там в поезд, батюшка молебен отслужил и отослал с богом.

Чугунка-то, она хоть и прямая дорога, а суеты-то на ней уж поглядели так поглядели. Народ на ней всякий и куда только не едет. Больше в Сибирь тогда подавались, на какой станции ни спросишь, кроме вятских-то, и черниговские, и воронежские, и псковские. Будто Столыпин-то этот всю Россию как квашню замесил, и полезло тесто через край, через Уральский камень на вольную сибирскую землю. У стремянских по дороге недолга вышла. Трифон Голо-

щاپов на какой-то станции девку потерял. Семьища у Трифона была такая, что одна полвагона занимала. У самого еще поскребышку лет пять, а у большака его уж и внуки такие. Всю дорогу голощاپовские сыновья промеж собой дрались, снохи друг дружку за волосы таскали, малые ребятишки возились да царапались, а мирились все, когда за стол садились. Сам Трифон-то на верхней полке лежал. Скрючит эдак ноги и лежит, считает, сколько ему наделов земли полагается. Много выходило, поболее, чем у всей Стремянки когда-то было. И тут хватились – нет голощاپовского поскребыша! Давай по головам мелкоу считать-пересчитывать – нет! Трифону сказали, а он рукой махнул, мол, девка же потерялась-то, мокрощелка, на нее земли не дадут. Голощاپиха его за ногу тянет, искать посылает, ревет, а он отлягивается, дескать, дура, одним ртом меньше. Тогда Степан Заварзин не выдержал, дернул какую-то ручку в поезде, остановил его и подался девчушку искать. Где нашел – не сказывал, однако через неделю догнал своих уж в Сибири, отдал ребенка Голощاپихе, а сам полено-то взял и давай Трифона по всему поезду гонять. Трифон бегал босой, в исподнем, орал, а Степан все лупил, лупил его по загривку. Да только Трифон будто резиновый сделался, полено так и отскакивало. Потом бабы-то отняли его и заставили на иконе поклониться, слово взяли, что семью свою будет содержать так, как православному полагается.

Выгрузили вятских на сибирской станции, посадили на казенные подводы и повезли. В какой деревне ночевать ни остановятся, мужики скорей к старожилам, про земли спрашивать, про хлеб. Старожилы в Сибири – народ молчаливый, хмурый какой-то, толком сроду не скажут. А жили они крепко, пахали помногу, одних только лошадей по пяти на хозяйство держали. Ходят эдак чинно, сапогами скрипят, на вятских лапотников вроде и смотреть не желают, мол, говорливые больно, несерьезные да и говорят чудно – окают, цокают и все слова нараспев, так что без привычки-то не поймешь. Пока на место ехали, кое-кто уж и коней купил, коров. Земский чиновник привел вятских на берег реки, указал кнутовищем на другой берег, дескать, вон земля ваша, лешаки, пашите, сколько влезет. А весна была, вода дурная, и берег все валится, валится – страшное место показалось, страшней, чем в России. Чиновник-то назад уехал, и остались вятские на голом берегу. Переехать бы надо, а лодок нет, и ни одной деревни близко. Развели цыганские костры, ночевать стали. А ночью-то медведь пришел и давай скотину пугать. Бродит вокруг, орет – до утра-то и не уснули. Бабы уж голосить было начали, мол, в эдакое страшное место привезли и бросили, пропадем ведь, пропадем. И уж вольной земле не рады. Назад пути нет, деньги потрачены. Мужики тоже загоревали, пыл-то прошел. Тут и вспомнили Алешку Забелина – он виноват! В эдакую тайгу завел! Хотели уж в оборот взять, но утром приплыл на обласке парнишка-кержак, стрелил медведя и посулил мужиков с лодками прислать. Приплыли кержаки на больших лодках – молчаливые, бородастые – лешаки, да и только. Поглядели на вятских, головами покачали. А самый старей и спрашивает:

– Кто же вас гонит, люди?

– Да не гонят нас, – отвечают вятские. – Сами едем, на вольные земли, из самой России.

Перевезли их кержаки через реку, вятские лопаты похватили, разбежались землю смотреть. Там копнут, там ковырнут – вроде хорошая земля, хоть и не совсем черная. Да и корчевать-то почти не надо, снимай дерн да паши. Обрадовались мужики, собрали кое-какие деньги, чтоб за перевоз рассчитать, но кержаки денег не берут.

– От анчихриста они, деньги, – говорят. – Не примем.

– Дак чем возьмете-то? – опешили вятские. – Может, солью?

– Грех брать с гонимых да несчастных, – закричали кержаки. – Вы, люди, на свою беду сюда приехали. Ждете от земли хлеба, а она вам камень подаст. Лучше занимайтесь-ка вы промыслом, верное дело.

– Что вы такое говорите-то? – испугались вятские. – Мы от земли живем, а вашего ореха да пушнины не знаем. Землей надежней жить, она хоть какая будет, а не продаст.

– Тогда мы с вас словом возьмем, – говорят кержаки. – Дайте ваше слово, что тайгу корчевать и жечь не станете, и хватит нам. Коль пожжете тайгу – все пропадем.

Вятские на слова богатые были, с лихвой с кержаками рассчитались. Довольные кержаки сели в лодки и заскрипели уключинами, замахали бородами. А мужики первым делом срубили эдакий длинный сарай – лесу кругом видимо-невидимо, – завалили потолок землей, сбили четыре печи, полатей наделали для ребятишек и через неделю вселились всей деревней в один дом. По ночам-то еще морозно было, топили много, и печи потрескались, дымили так, что изба черная стала. Ребятишки на полатях так в саже-то уделаются, что по утрам и не узнаешь, который чей. Трифон Голощاپов сядет за стол, пересчитает рты – опять лишние! Но попробуй-ко разберись, который из них чужой. Станет бабу свою искать или снох, чтоб на стол скорей подавали, а найди их, если все бабы в избе из-за копоти-то одинаковые сделались. По утрам и вечерам в деревне этой гул великий стоял: семье-то в четыреста душ было не развернуться, не разобраться, кто где. От мокрых рубах и онучей вонь такая стояла, что однажды любопытный парнишка-кержак заглянул в избу да и выскочил оттуда с молитвой, как из ада земного. Нешто пристало людям эдак жить?

А избы-то строить некогда было. Вятские от мала до велика по своим пашням работали, дерн срубали, к пахоте готовились. Слух прошел, будто старожилы давно уж посеяли, потому и торопились, чтоб не отстать. Иначе ведь засмеют, скажут, вятские-то экие полоротые, экие бестолковые: скоро жать, а у них не сеяно.

Сколько успели очистить за весну, очистили, изладили сохи и стали пахать. Тут не только кержаки, а и старожилы пришли глянуть на диво. В то время по Сибири сохами уж не пахали. Самый худой крестьянин за плугом ходил. А целинная земля тяжелая была, сохи ломаются, мужики пока вспахали – измаялись вконец. Вот уж старожилы посмеялись, вот уж животы понадрывали. И еще ведь, лешаки, славу кругом распустили, мол, вятские-то поселенцы совсем худые мужики, промысла не знают, а хлеба сохой пашут, сучком землю ковыряют. Зимой по миру пойдут, в кусошники. Вятские же посеяли и начали избы рубить, да тоже по-своему – с поветями, с крытыми дворами. От голода по дармовому лесу венцы в два обхвата клали, тужились, крихтели, рвали жилы: хоть в этом-то местных обойти. К осени эдак-то и встало на голом берегу сорок срубов.

И этой первой осенью за все мытарства земля вятских поселенцев и одарила. Хлебушек уродился невиданный – по триста пудов с десятины. Старожилы не смеялись, но хмыкали: мол, и у нас бывает урожай, когда целину подымаем. Поглядим, что на другой год соберете. А вятские белые калачи ели и посмеивались. Да Алешку Забелина добрым словом поминали. На другой год мужики втрое новой земли припахали и завалились хлебом. Кругом у старожилов недород, а вятские возами хлеб на ярмарку везут, назад же на парах едут, в бричках, в сапогах. Два года прошло, как поселились, но уже другая слава пошла. К вятским нищие потянулись: они-то знали, где хорошо подадут. Шли с Христовым именем такие же переселенцы, что на худые земли угодили и обнищали. Сибирская земля – она, как человек, свой характер имела: где каравай подаст, где и в куске откажет. На третий год еще земли припахали и так зажили, что российским хуторянам не снилось. В каждой избе на окнах шторы навесили. Шторы, по стрелянским понятиям, считались признаком большого достатка, в России они только на поповских окнах висели. Возле каждого овина скирды с хлебом стояли, так что пришлось общественную молотилку покупать. В тот же год вздумали вятские свою церковь ставить. Для себя-то никогда рубить не приходилось, потому уж такую подняли – загляденье одно.

Святить церковь и первую службу творить сам архиерей приезжал. Иконы привез, всякие причиндалы – от подсвечников до брачного венца и купели. Женись да размножайся, православный народ! Вместе с архиереем появился фотограф – чернявый, юркий такой человек, бегал по селу, на карточки вятских снимал. Архиерею-то уж больно переселенцы поглянулись, и церковь, и село.

Он же ему и название дал – Столыпино, мол, по чести и имечко. Многие вятские хотели, чтоб Стремянкой звалось, по-русски, да при такой-то жизни разве можно эдак? Архиерей село обошел, и только одна изба ему не понравилась – та, что самой первой поставили, одну на всех. Лес-от не-ошкуранный был, а потому почернел, жучком побился, и что изнутри, что снаружи изба стала больно уж срамная. К тому же на бугре стояла и церковь чуть ли не на половину закрывала. Откуда бы ни подъезжал к селу, все эта изба торчит как бельмо в глазу. Архиерей-то пожелал, чтоб ее мужики раскатали, но по случаю освящения церкви большая гулянка по селу ходила, с гармониями да плясками. Мужики распались, хотели тут же избу сломать, но Трифон Голошапов принес керосину, облил углы и сунул спичку. Огонь-от как хватил, как понесся – едва удержали. Чуть новая церковь не полыхнула. А Степан Заварзин тогда чуть умом не тронулся, так ему избу жалко стало. Сначала тушить пробовал, а когда видит, не слазить, колом давай Трифона по селу гонять. Едва до смерти не убил, мужики отобрали. Степан же пришел к огню, посмотрел и, сказывают, постарел на глазах, сгорбился, иссох.

– Ой, люди, люди, – сказал. – Сгодились бы вам и такая изба. Рано вы худую жизнь-то забыли, рано...

В тот же год вятские еще одно строительство затеяли – мост через реку. А Забелина Алешку, по совету архиерея, в самую столицу послали, в Петербург, к министру Столыпину. Раз село по его фамилии назвали, значит, надо поклон ему отвезти и каравай хлеба от вятских поселенцев. Алешка поехал, а мужики вышли на реку сваи бить. Бьют, а сами на льду и гуляют. Только один Степан Заварзин совсем как кержак стал, пива в рот не берет, ходит, в сваи палкой тычет.

– Не зарьтесь, мужики. От моста этого весь раззор и пойдет. Реку-то в объезд объезжать, и то спокойней жить бы стало...

Ушел он из дома, хозяйство сыну Федору отдал и при церкви поселился: снег на дворе метет, свечи зажигает, когда служба, да с нищими водится.

Алешка из Петербурга только к весне вернулся, и пришел не один, тридцать подвод обозу за собой привел. Мужики сгрудились на берегу, глядят – глазам не верят: Алешка-то стремянских за собой притащил, тех, что ехать сразу не пожелали и в России остались. Родня там мелькает, сваты, кумовья, брательники...

– Мне министр-то, Петр Аркадьевич, сказывал, – объяснил Алешка. – «Собирай, Алексей Семеныч, остальных стремянских и веди к достатку». Я и привел! Пускай живут!

Мужики, бабы, старики стоят хмурятся, затылки чешут. Надо бы односельчан встречать, в гости звать; а ноги не идут. Ведь они же, односельчане-то, в общину проситься станут, им надо земли отводить, избы ставить, а где она, земля? Какая была – всю распахали, даже чужого прихватили. Не отрезать же свою пашню, с таким трудом отвоеванную? Старики посоветовались и решили не принимать стремянских в общину, пускай-де выше по реке идут, ищут земли и садятся. А мужики на Алешку поднялись и чуть только в оборот не взяли за такое самовольство. Крепко новопоселенцы тогда обиделись, даже в село не зашли, отвернули от места и подались искать себе доли.

В тот же год вятские сохи-то позабрасывали и купили плуги пароконные. Кто первый плуг привез, теперь никто и не помнит. Мужики радовались: вот попашем так попашем! И опять Степан Заварзин ходил да беду накликивал:

– Попортите пашни, мужики! Соха, она землю гладит, почесывает, а плуг-то все нутро ей выворачивает. Вспомнете еще избу-то, которую спалили. Ох, вспомнете!..

И накаркал-таки, хрен старый. Вятские как начали плугами пахать, так земля отчего-то краснеть стала. Прямо на глазах цветом, как в России, сделалась. Посеяли мужики, а земля-то лишь вполовину прежнего родила. Мужики старые скирды домолотили, на другой год опять засеяли пшеницей, а она уродилась худой, низкорослой и зерна в колосе, как гороху в стручке. Земля, будто лошадь больная, исхудала, исчахла, и выперли наружу все мослы и ребра. Избы-

то и почернеть не успели, мужики по паре сапогов износить, мост совсем новехонький стоял, а земля уже выпахалась. К тому же как раз весть облетела – министра Столыпина убили, поскольку-де он в государстве великую путаницу создал и при царском дворе бунт учинил. Приехал земский, сказал, что село отныне будет по-старому Стремянкой называться. С ним и спорить не стали, даже облегчение вышло: Стремянка-то – имечко российское, родное. И слух ласкает, будто и не уезжали никуда...

4

К вечеру, а вернее к ночи, сил оставалось только добрести до дома, подняться на четвертый этаж и, не раздеваясь, лечь на тахту, чтобы сразу же уйти в темную зыбь сна. Бывало, ночью он просыпался, раздевался и укладывался, как полагается, под одеяло, и, не в силах уснуть, лежал до утра с открытыми глазами. А потом начинался кофе, курево до одури, так что к работе уже побаливала голова, подавливало сердце, и при одном воспоминании о том, что надо снова идти и целый день выслушивать жалобы и угрозы, слезы и заискивающие просьбы, становилось грустно и пусто: весь август Сергей работал председателем конфликтной комиссии, в университете шли приемные экзамены.

В эту страдную пору он и к своему дому подходил как профессиональный разведчик. Вначале проходил мимо, по другой стороне улицы, затем через соседние дворы, в тени деревьев, приближался к подъезду, высматривая, нет ли кого, и лишь после этого входил в подъезд. Но ждать могли и на лестничной площадке, поэтому он вынимал из ящика газеты, стараясь не шуметь, крался по ступеням на полусогнутых и смотрел вверх. Если кто-то был, то Сергей так же осторожно выходил на улицу, забирался в глубь двора на детскую площадку, ждал, когда посетитель уйдет, и иногда придремывал. Ждали его в основном знакомые и знакомые знакомых, у которых кто-то срезался на экзамене и теперь возникала не конфликтная, а аварийная ситуация. Реже приходили совсем чужие, даже приехавшие из других городов и республик, но он всегда безошибочно угадывал, кто и зачем торчит у его подъезда или мается на лестнице. И еще угадывал, насколько опасен гость. Хватало одного вида темной фигуры. Опаснее, конечно, были знакомые: просто так не отвяжешься. Сосчитать бы как-нибудь, сколько врагов нажил себе с этой комиссией...

К счастью, лихорадочный месяц кончался, но бдительность следовало усилить. Теперь приходили не те родители, отпрыскам которых вместо «двойки» хотелось «тройку», а более требовательные и агрессивные – кому вместо «четверки» нужна была «пятерка», кто недобирал одного балла. Эти от отчаяния шли на все.

Сергей осторожно притворил за собой дверь подъезда, прокрался на цыпочках к почтовому ящику и вынул газеты. Ящик был черен: уже несколько раз его кто-то поджигал. Похоже, велик был соблазн сунуть спичку в отверстие и спокойно уйти, пока разгорается почта. Кто знает, что там сгорало? Скорее всего самое дорогое и ценное. Но как только Сергей перестал запирать его и жене наказал, стали жечь другие ящики, а его почта оставалась целой, парадокс человеческой, точнее ребячьей, психологии.

С газетами под мышкой он поднялся на второй этаж и увидел чью-то спину возле перил на четвертом, как раз напротив своей квартиры. Спина была широкая, крепкая, но чуть согбенная, серые брюки слегка поблескивали от сидячей работы их хозяина. Такой прицепится – до утра не отстанет, лучше еще часок посидеть на скамейке, почитать газеты. Выдержка у гостя скоро кончится: вон уже к перилам прислонился и ногами часто переступает... Сергей тихо спустился и вышел на улицу.

Осень подкатила, сидеть на скамейке было зябко, и тучи в сумерках были низкие, тяжелые. Лето началось, а уж и хвост показало. В сентябре на месяц в деревню на сельхозработы со студентами, затем плотная программа лекций; и опять ничего не успел, каждую зиму он ждал лета, готовился, все думал съездить в Кировскую область, а оттуда – к отцу. Отец уж года четыре просил его завернуть в Киров, дескать, ты в Москву часто ездишь, заскочи, узнай, цела еще деревня, нет. По нынешним меркам, это же недалеко. А потом мне расскажешь, как там. Ни разу не был в российской Стремянке, но тянет. Ты хоть погляди, какое там место.

– Ты бы сам съездил, – говорил он отцу и шутил: – Между прочим, все богатые американцы к старости начинают путешествовать. Ты бы тоже собрался да поездил по миру.

– Когда мне? – вздыхал отец. – Летом пасака, зимой все под снегом, ничего не увидишь... А снег везде одинаковый. Заскочи, глянь, может, там какая-нибудь родня осталась. Хоть далекая, а все родня. Американцы – они по чужим местам ездят. Здесь, Серега, другая штука. Боюсь, поеду да останусь там. Или, наоборот, приеду, а там – плохо... Не так, как мне думается, не такое место.

И почти в каждом письме наказывал, деньги предлагал, если надо. Сергей от денег отказывался и знал почему. Вслух никогда не говорил, но про себя знал: возьми деньги, и обязательно придется заехать.

Еще одна осень, а в российскую Стремянку опять не попал... Минуту полтора. Гость вышел из подъезда, побродил взад-вперед и снова исчез за дверью. Сергею померещилось что-то знакомое в его фигуре, а это лишь усилило нежелание встречаться. Потом он задремал, кутаясь в плащ; в доме уже гасли огни. Ему показалось, что он спал долго, вскочил, осторожно вошел в подъезд. Кто-то повывключал на площадках свет, и только на четвертом горела лампочка. Пришельца не было видно – похоже, не дождался. Сергей перевел дух и, не скрываясь, стал подниматься. И когда он уже был между третьим и четвертым этажами, вдруг увидел широкую спину. Человек стоял у двери, прислонившись плечом к косяку. Крепко стоял, как мостовой бык. Бесшумно развернувшись, Сергей пошел вниз и услышал знакомый зычный голос:

– Серега?! В душу твою... Чего ты от меня бегаешь? Во, фрукт! Я его четвертый час жду!

– Да я не от тебя прячусь, Иона, – засмеялся Сергей. – Меня тут обложили... родители. Как волка...

– Тебя обложишь, как раз, – хмуро пробубнил Иона.

Сергей открыл дверь, впустил брата. Тот прошел в комнату и сел на диван, не снимая куртки. Руки спрятал в карманы, шарил глазами по стенам и полу. В квартире был беспорядок. Пока Сергей ставил чайник и, открыв холодильник, долго смотрел туда, размышляя, что выставить на стол, Иона побродил по его дому, заглянул в каждый угол и встал на пороге кухни.

– Знаешь, Серега, – сказал он. – Я вот что тебе скажу... Кстати, а где твоя баба?

– В Новосибирске, у родителей, – бросил Сергей. – Ты есть сильно хочешь?

Иона поморщился. Старший из братьев Заварзиных ростом был под два метра, в ширину – дверной проем заслонял, и когда нажил брюшко, нагулял шею, чуть сторбился, стал тяжелым, медведеподобным. Он вечно не знал, куда деть руки, поэтому пихал их в карманы, отчего еще больше горбился.

– Гони-ка ее к чертовой матери! – вдруг бухнул Иона. – Под зад мешалкой!

– Кого? – спросил Сергей и отметил, что брат чем-то расстроен.

– А бабу свою! Уехала, вот и пускай там живет!

– Ты разошелся, так теперь всем за тобой? – усмехнулся Сергей.

– Ты про мою не говори, – отрезал брат. – Моя хоть и того была... Зато чисто плотная. У нее в доме чистота, приятно зайти. А у тебя? Как ни придешь – бардак. Бардачина какой-то! Она что, полы вымыть не в состоянии? Да и что мыть-то – паркет!.. Шторы грязные, разбросано все, пылица! И холодильник пустой! Тебе, как научному работнику, не стыдно? Культурные люди...

– Я тут сам... запустил, – помялся Сергей. – Руки не доходят... Когда жена дома, бывает уютно...

– Ну-ну... Защищаешь? – Брата что-то задело, наверное, своя неустроенная жизнь. – Передо мной мог бы всю правду-матку...

– Что, с проверкой пришел? – хмуро спросил Сергей. – Ревизию наводить?

– Да нет, так... – отмахнулся Иона. – Честное слово, увижу бардак – душа болит! Ну ты же женщина, хозяйка – так наведи порядок! Сделай так, чтоб красиво в доме было! Чтоб тянуло домой... А сюда потянет? Тебя тянет домой?

– Сейчас где живешь-то? – вместо ответа спросил Сергей.

Иона покряхтел, огляделся.

– Я-то что... На работе пока живу, в кабинете. Обещают к зиме квартиру в новом доме... Так уж лучше на работе, чем в этом свинарнике. Ну, честное слово, Серега! Мне как брата тебя жалко. Ладно, мы деревенские, а она-то – из интеллигентной семьи... Курит еще...

Сергей ощутил, как подступают, накатывают раздражение и злость. Не на брата, не на беспорядок в доме, а вообще на все сразу. Тут еще вспомнилась последняя ссора с Ирмой, после которой она и поехала к матери, забрав Вику. Ирма работала завлитом в Театре юного зрителя; театр был на гастролях, Ирма в долгом отпуске, но поехала-то она не затем, чтобы отдохнуть или убить время. От обиды поехала, дверью хлопнула. Ведь не собиралась к родителям – тут же помчалась... И занесло его в эту конфликтную комиссию! Знал бы, руками и ногами открестился!

– От бати письмо давно было? – вдруг спросил Иона.

– Последнее еще весной, – пробубнил Сергей и склонился над раковиной – мыть чашки.

– Врешь, – тихо сказал брат. – Как сивый мерин.

Сергей обернулся, насторожился.

– Чего уставился? Тебе в конце июля письмо было. А ты до сих пор ответить не соизволил.

– Не получал я! Не было, – удивился Сергей. – Что мне врать?.. Хотя как раз в июле почтовый ящик сожгли...

– Конечно, – не поверил брат. – А письмо сгорело... Ну-ну... И от Тимки тоже письмо сожгли?

– И от Тимки не было! – уже возмутился Сергей. – Что за допрос?

– Допрос? – поморщился Иона. – Допрос с пристрастием... Только не я тебя, а поскребши нас обоих допрашивает. На, читай! – Он выдернул из кармана конверт и припечатал его к столу, а сам сел на табурет, ссутулился.

* * *

«Здравствуй, большачок! – прочитал Сергей. – Я знаю, что твоя обязательно прочитает это письмо, а мне бы того не хотелось. Так что ты, Катя, можешь не читать дальше. Про Белошвейку я больше ничего писать не буду. Дело касается только нас троих, братьев. Я Сереге написал – ни ответа ни привета. Батя ему тоже писал в конце июля – молчит. Так что я пишу тебе на старый адрес, потому как не знаю нового. Может, у тебя, думаю, совести больше, чем у некоторых ученых, так ты ответишь и про свою семью вспомнишь. Верней, не про свою, а про нашу. Я все понимаю, у вас там в городе дел по горло, начальники все, занятые, только про батю нашего все равно забывать не надо. Он у нас один, и другого не будет. Это баб можно менять, а родителей не заменишь. Конечно, мне вас, старших, учить не с руки, но я только спросить хочу: у вас совесть есть? нет? Или вы ее совсем там затуркали? Вам с Серегой батя нужен был, пока вам машины покупал да квартиры, а теперь что? Можно на него и оглоблю положить? Хоть бы раз кто за лето появился! Вас же не на каторгу зовут – к бате, домой. Вы бы хоть для отвода глаз заскочили, и то бы он рад был. Дождешься вас, как же! Ладно, на Серегу там самолетов поставили, он попался, как ерш на крючок, – еще и заглотнул. Ты-то, большак, каким местом думаешь? Вольный теперь, так приехал бы. Или стыдно перед батей? Так батя все поймет, он не слепой, все видит. А пишу я так потому, что с нашим батей творится черт знает что. В начале лета его избили, вместе с Артюшей. Какие-то парни в Яранке. Не знаю, как у вас, у меня сердце кровью обливается. Да он что – безродный, одинокий? Заступиться за него некому? В старое время у нас в Стремянке за такие дела этим паразитам пасти бы порвали! А он теперь в суд даже не хочет подать. Участковый хотел сам дело возбудить, так батя пошел к нему и сказал, будто он сам первый начал. Они с Артюшей. С Артюши какой спрос? Ощепкин

все видал, да молчит, кержак. Эти парни у Яранки сосняк порубили и отвалили как ни в чем не бывало. Ихнего старшего я с сетями на реке поймал, так он чуть не в драку на меня. Говорит, рыбачил и буду рыбачить. Если б я знал тогда, что его эта команда бату била, на веревке бы в милицию привел. А я, дурак, простил и только десятку штрафа выписал. Но это еще не все. Батя после всех этих дел какой-то тихий стал, невеселый. Мало того что он Артюшу у себя держит, так еще каких-то бичей привечает. Сколько меду отдал, и все без копейки. А гнать мне их не с руки, батя, чего доброго, обидится, сами знаете, но и терпеть сил нету. Так что делать будем? Мне одному здесь не разобраться. Но самое главное дальше. На той неделе заехал я к нему – мед не выкачан, пасека стала – у Бармы лучше. Я мед покачал, омшаник почистил. А батя и говорит: знаешь, Тимка, поеду я, однако, в Россию жить, в вятскую Стремянку. Хочешь, пасеку забирай, а я поеду туда помирать. Вы все на ногах, душа перед вашей матерью чиста. Я его отговаривать – он все свое. И в Стремянке всем рассказал, что поедет. Сами знаете, батя упрется – не своротишь. Люди смеются. В глаза не говорят, но уже слышать, мол, повелся с Артюшей и сам чокнулся. Как такое мне слушать? Ты с Серегой далеко, до вас не долетит. Тут недавно приехали к нему трое каких-то, говорят, что Серегиной бабы родня какая-то. Он их три дня медовухой поил, а на четвертый две фляги меду, штук сорок рамок с медом и ящик прополиса вроде подарил. Они ему ни копы – и уехали. Совести-то нету. И все при Кате Белошвейке было. Она рассказывает и чуть не плачет. Дурят, говорит, мужика, а он – свои, свои. Что мне делать? Капитально заняться некогда, все-таки работа, браконьеры. Давайте сообща решать. Только вам приехать надо, пока он не уехал. Потом поздно будет. Иона, найди там Серегу, возьми его за жабры. И напишите, когда приехать сможете, чтобы всем вместе собраться. Дело нешуточное. Вот так. В Стремянке всё по-старому. Медосбор хороший был. Вежин, говорят, десять тонн взял чистого. Летом видал его, привет слал Сереге, спрашивал. А Серега и ему не пишет. Теперь точно говорят, что гари будут распахивать. Эти паразиты сосняк вырубili, а то место теперь распахали. Половину хотят нынче озимыми засеять, а другую половину пшеницей на тот год. Опыт ставят. Что еще? Бабка Лепетушиха померла. Пошла за водой и упала с коромыслом. А старик ее все еще паром гоняет, пить стал. Ну вот и всё. Жду письма от тебя и скорого приезда обоих. Пока до свидания.

P.S. А у меня шестой родился, еще в июне. Опять девка».

* * *

Братья сидели и пили чай. Большак молчал, а Сергей все перечитывал и перечитывал письмо, отдельные его места. И казалось, будто он это уже слышал или читал. А может, во сне снилось, да заснул потом сон, и осталось только смутное его воспоминание? Сергей машинально хватал губами горячий чай, смотрел на почерк Тимофея, вспоминал и ничего не мог вспомнить. Уж не рехнулся ли он с этими экзаменами и комиссией, с поздними гостями, стерегущими у дома? Вы-хватил, поди, письмо из ящика, прочитал и моментально забыл.

Сергей встал, задумчиво покружился по кухне, затем достал из бара коньяк, выставил две рюмки.

– Я не буду! – заявил Иона и убрал одну рюмку. – И тебе не советую. Давай на трезвяк думать.

Сергей налил себе, выпил, снова взял письмо. Взгляд остановился на фразе: «А батя и говорит: знаешь, Тимка, поеду я, однако, в Россию жить...»

– И вообще не советую, – повторил Иона. – Сегодня рюмку от расстройства, завтра от счастья. И пошло-поехало. А там алкоголизм стучится!.. Тебе нельзя ум пропивать, скоро профессором станешь. Докторскую-то написал?

– Написал, – бросил Сергей и снова впился в фразу: «...поеду я, однако, в Россию жить...»

Брат умолк, глянул исподлобья, набычил шею. Сжатые кулаки на столе были чуть меньше чайника.

– Здорово он нас? – спросил. – Вот тебе и поскребыш.

– Иона, ты не знаешь, кто почту жжет? – вдруг спросил Сергей. – Почему? Зачем?

– Хулиганье! – бросил брат. – И не поймает... Ты это к чему?

– Так, – проронил Сергей, – совпадение... Голова не соображает.

– А ты пей больше! – рявкнул Иона и убрал бутылку. – Что? Задумался? Вот и я прочитал – задумался. Ишь, шестого родила. Значит, еще тысчонку с бати сдернул плодovitый наш... Это что за родня твоя наезжала?

– Не знаю. – Сергей пожал плечами. – Не моя родня...

– Ну бабы твоей! Она еще и родню туда пихает... Во деятели! Так и глядят, где бы на чужом горбу в рай прокатиться!.. Что делать-то будем?

– Устал я... – пожаловался Сергей. – Смысл трудно доходит...

– А я – нет! Я свеженький к тебе приехал, с курорта!.. – Иона встал. – Там, по-моему, не с батей – с Тимохой разобраться надо. Нас корит, а сам?.. Рядом был, не мог сосунков этих переловить? На словах только герой, а так сопли распустил!.. В суд, не в суд! Да я бы их, гадов, в дерьме утопил!.. Что молчишь, ученый? Есть у тебя совесть? Поскребыш спрашивает, есть?

– Ты знаешь, он все просил в Киров заехать, в старую Стремянку. Попутно, – проговорил Сергей. – Видишь как... А я сегодня на лестнице тебя не узнал.

– Где ж ты узнаешь! – Брат пнул пакет с картошкой. – У тебя теперь другая родня. Вон ее сколь! Ты у нас ломоть отрезанный. Мы тебе чужие стали.

– Ну, хватит! Хватит! – взорвался Сергей. – Указчик нашелся!

– Я тебе старший брат! – отрезал Иона. – Имею право указывать!.. И вообще, ты почему к отцу ездить перестал? Деревенской родни застыдился?

– А ты?

– У меня другое дело. На мне предприятие – тысяча душ! Я два года в отпуске не был. Шпалопропитка вон сгорела. Убытки, комиссии... В самом деле – ни стыда, ни совести. Один там, другой здесь, а об отце подумать некому. Опять мне? Опять на мою шею сядете? Может, хватит кататься-то?..

– Ну, поеду к нему, а что скажу? – как-то виновато спросил Сергей. – Всем бы вместе... Батя мужик крутой, с ним не разговоришься.

– Потому и надо тебе ехать! – перебил Иона. – Ты – ученый, дипломат... Езжай и разберись.

– С ним что-то случилось... Понимаешь, во сне даже видел. Будто мы с ним коня запрягли за сеном, бастрык привязали, а сами пешком пошли. Снег на лугах глубокий...

Иона глотком допил чай, потрогал письмо на столе и вдруг засобирался.

– Короче, думай. Мы тебя не зря всей семьей выучили. Вот и думай, что делать. Сроку – сутки. Я завтра заеду. А письмо еще почитай, полезно будет.

Он ушел в переднюю, начал крутить замок, как всегда, в другую сторону. Пыхтел, тихонько ругался.

– Погоди, – окликнул Сергей. – Погоди... Мы так и не договорили... Как тебе живется-то?

– Как? Вот так! – бросил Иона. – Хорошо живется!

– Ты бы остался, переночевал... Поговорили.

– Мне завтра с шести вагоны подадут на загрузку. Я уж лучше на работе... чем тут. Меня не ищи. Завтра сам буду.

Он вышел, прихлопнул дверь, но она отошла со скрипом, и в щель потянуло уличным холодком. Сергей запер ее и поплелся на кухню.

Неизвестно, что помогло – письмо, брат или коньяк, но усталость слетела. Он почувствовал бодрость, почти такую, с которой садился писать статьи: от возбуждения подрагивали руки, в квартире казалось тесно, душно. И, лишь распахнув окна, можно было работать. Он перечитал еще раз письмо, взял веник с совком, начал подметать, собирая и раскладывая по местам вещи. Однако ощущения чистоты не было. Тогда он пропылесосил ковер на полу, тахту, поставил посуду в шкафы, убрал книги со стола и кресел, протер пыль. И все равно свежести в квартире не добавилось. А когда снял с окон и дверей шторы, то вообще испортил мало-мальский порядок: теперь, казалось, любой прохожий мог заглянуть с улицы. Вдруг его осенило – нужно вымыть пол! Именно с пола начинается чистота! Паркет кое-где зашаркался до черноты, в других же местах, наоборот, желтел светлыми пятнами. Отмыть его, и будет чисто!

Он взглянул на циферблат. Высокие напольные часы показывали половину третьего ночи. Соседи внизу давно привыкли к ночному образу жизни верхних, к бесконечным хождениям и скрипу паркета. Правда, пол еще ночью не мыли у них над головами, не скоблили его косарем, но, поди, не догадуются, что здесь происходит. Сергей налил воды в ведро, взял на кухне самый большой нож и, намочив паркет, начал скоблить. На ходу пришлось разуться, завернуть штанины и снять рубаху. Паркет поддавался плохо: пиленный вкось слоев, он задирался, и драть его можно было только «по шерсти», к тому же грязь, въевшаяся слишком глубоко, сначала вроде бы сходила, но потом вдруг проявилась. Без рубанка тут не обойтись. Он скреб и вспоминал, как делала это мать в их стремянской избе. Пол мыли раз в неделю, тогда еще не крашенные половицы мать заливала водой, размачивала поверхность, а потом скоблила, посыпая чистым речным песком. Работа длилась несколько часов, но потом было так приятно пройти босиком. Желтые половицы казались мягкими, бархатистыми, ласкали подошвы. Древесная мякоть выскабливалась быстрее, чем сучки, и поэтому они слегка выступали из пола, делая его волнистым. Какое-то особое удовольствие было ступать по этим волнам, когда ступня всей кожей прилегала к полу и становилась чувствительнее, чем ладони рук. Ощущалась даже самая крохотная песчинка, оставшаяся после мытья. Почему-то и отец часто ходил босым по свежевыванному полу. Может быть, оттого, что в доме, заставляя разуваться всех, берегли чистоту? Отец ходил по волнам и иногда говорил:

– Мать, пол-от в песке.

– Где? Где ты песок-то увидел? – спрашивала усталая мать, домывая сенцы. Она разгибалась с трудом, стояла босая, держа в руке льняной снопик, измочаленный об пол, и с испугом заглядывала в избу.

– Не увидел, а почуял, – говорил отец. – Наступи-ка, наступи.

Мать не ленилась, быстренько смывала ноги чистой водой и шла к отцу, проверить. Она наступала своей ногой на то место, щупала ею пол, глядя при этом задумчиво, и ничего не чувствовала.

– Где? Где ты, лешак, почуял-то?

– От толстокожая! – смеялся отец. – Так на полу-то! Не чуешь?

Мать не чувствовала. Она босая спокойно ходила по стерне, и на ее пятках вечно были глубокие трещины, словно на земле в засушливое лето...

Сергей отскоблил весь коридор, несколько раз протер его мокрой тряпкой, затем еще раз отжатой и сел на Викин стульчик у двери. Пол засиял желтым светом, паркетины сливались между собой, и создавалось обманчивое ощущение половиц. Он обмыл ноги тут же, в ведре, и, ступая осторожно, пошел по коридору. Он прислушивался к своим ступням, но ничего, кроме стыков между паркетинами, не чувствовал. Прошелся взад-вперед, разглядывая свою работу, заметил, что натоптанная полоса черноты посередине смылась не до конца и проступала из глубины дерева.

И не было того приятного ощущения, как не было и самой чистоты.

Сергей вырыл из беспорядочной груды обуви на полке старые шлепанцы и, оставив ведро с грязной водой у двери, лег на тахту. Осмотрел, ощупал свои подошвы: кожа была чувствительной, нежной и желтой, как только что отскобленный деревянный пол. Ему вдруг захотелось плакать. Уткнуться, забиться в уголок и реветь, как ревелось только в детстве. Но в детстве-то Сергей как раз плакал очень редко, от самой жестокой ребячьей обиды мог отойти в сторонку, постоять с зажмуренными глазами и кривящимся ртом, перетерпеть, проглотить слезы. Это у Ионы глаза на мокром месте были, чуть тронь – часа два не успокоишь. Отец, бывало, за ремень брался, чтоб тот реветь перестал. И если плакал Сергей в детстве, то не от боли и обиды, а по причине совсем непонятной даже для самого себя. Вдруг накатит волна, и ни с того ни с сего защежит какая-то вселенская жалость. Всех вокруг становится нестерпимо жалко, кажется, все такие несчастные, и жизнь везде страшно нелепая, потому что, как бы ни хлопотал, как бы ни суегился, все равно придет смерть и жизни больше никогда-никогда не будет. А именно в такие моменты невыносимо, до слез хотелось жить!

Но то все было в детстве, краешком прихватывало юность, затем кончилось. Сейчас-то понятно, отчего так было. Помнится, Ирма тоже говорила, что плакала в детстве просто так. И у нее это прошло еще раньше. Сергей же последний раз ревел уже в университете, после вступительных экзаменов. Прочитал свою фамилию в списках принятых, обрадовался, от счастья пошел куда-то по коридорам огромного здания, поднимался по черным лестницам, спускался, нырял в переходы. И неожиданно понял, что не знает, как выйти из этого лабиринта. Зашел в какой-то тупик, забитый сломанной мебелью, устроился между двумя столами и заплакал. Но пришла тетка с тряпкой и ведром, пожалела его, думала, что он провалился на экзаменах, и стала уговаривать.

– Меня зачислили, – сказал Сергей, подавляя всхлипы.

– Чего же ты тогда ревешь? – удивилась уборщица.

– Не знаю. Заблудился я...

Она вывела его, показала дверь. Оказалось, что он был всего на втором этаже и недалеко от парадного. Он не любил вспоминать об этом и много лет спустя рассказал только Ирме. Тогда-то она и призналась, что тоже плакала ни из-за чего.

– Я тебе помогу, – сказала Ирма. – Тебе еще от многого нужно избавиться. Ты не стесняйся, в этом ничего нет такого. Когда Есенин приехал в столицу, его тоже обламывали. Да еще как! Потом он в цилиндре ходил. Крылатку надевал... А иначе нельзя, понимаешь? Главное условие – обязательно делать то, что тебе не хочется или чего ты стесняешься. Тебе не хватает смелости и общительности. Я тебе помогу.

И водила Сергея в компанию театралов, актеров, художников, таскала на вечеринки с чтением стихов, монологов, заставляла его раскрепощаться.

– Не сиди ты в углу с умной физиономией! – говорила потом. – Все тебя знают. Знают, что ты умница и что из деревни. Тебе нужно втягиваться, понимаешь? Какой же ты ученый? Нужно говорить, общаться. Иначе невозможно. Я тебе помогу!

Сейчас ему захотелось плакать, но слез не было, только настроение. Как хорошо было в детстве! Как сладко ревелось!..

Он вскочил с тахты и бросился в переднюю. Была еще одна живая душа – дог Джим, который сейчас наверняка не только плакал – выл от голода. Джим уже полгода жил в гараже: пришлось перевести его туда, чтобы освободить жизненное пространство. Квартира оставалась прежней, двухкомнатной, но почему-то становилась тесноватой. Вроде и мебель та же, и вещей не приросло, а такое ощущение – не развернуться. Последние полгода он стал работать больше ночами, нужен был свой угол в квартире, но ничего, кроме кухни, не оставалось. Вика подросла, ей тоже требовался уголок. Джима переселили, но проблема осталась. Может быть, не в площади было дело?

Сергей достал из холодильника брикет мороженой рыбы, отыскал в кармане плаща ключи и побежал в гараж. Последнее время жизни в квартире Джим начал выть: скорее всего тосковал. Вика жила у бабушки в Новосибирске, и они, Сергей и Ирма, освобожденные, являлись домой только ночевать. Нет, соседи не жаловались. Они лишь говорили, встречая на лестнице:

– А у вас собака опять выла.

Сергей пробежал два квартала по ночному городу, свернул к пустырю, где лепились гаражи, и сразу же услышал вой – негромкий, тоскливый и вместе с тем гулкий, будто в колодце. Он отомкнул дверь. Джим ткнулся в ноги и замер. На рыбу в руке даже внимания не обратил.

– Ну что ты воешь? Что? – спросил Сергей и погладил дога по спине. – Туго, брат? Туго... Дай, Джим, на счастье лапу мне, такую лапу не видал я сроду...

Он бросил рыбу в угол, к подстилке, и заметил, как из шерсти собаки сыплются искры: голубые, покалывающие ладонь.

– Вот и все. Мир и покой на твоей душе. Так? Нет?.. Погулять хочешь? Полаем при луне, а?

Имя собаке было дано Ирмой. Она когда-то защищала дипломную работу по Есенину. Джим гулять не захотел, ушел в свой угол. Не включая света, Сергей забрался в машину и налег грудью на руль. Ветер покачивал дверь гаража, и откуда-то доносился собачий вой: похоже, еще один бедолага маялся в каменном мешке.

Ехать в отпуск к отцу Сергей собирался и нынешним летом. Но весной Ирма затеяла обмен квартиры. Точнее, она нашла вариант – трехкомнатную в госфонде, но с доплатой в тысячу рублей. Таких денег не было. Ирма настаивала, чтобы он съездил к отцу и попросил.

– Он у тебя все понимает и даст, – убеждала она. – Тебе же негде работать! Не для роскоши же берем! От нужды. Что стесняться? Съезди, пока дороги не развезло.

– Не надо брать у отца, – бубнил Сергей. – Сколько можно? Неудобно, понимаешь? Не могу.

– Ну возьми в долг. Скажи, вернем.

– Мы возвращали когда-нибудь? Что обманывать-то?.. И так в долг живем, назанимались. Не знаю, у нас в Стремянке бы...

– Что у вас в Стремянке?! – взорвалась Ирма. – Папа – миллионер, а он... а тебе неудобно?! Сам сидишь на кухне, никаких условий, но попросить стыдно ему, видите ли... Когда мой папа тебе помогал – ничего. Не стыдно было!

– Стыдно! – крикнул Сергей. – Сквозь землю бы провалился... и давай больше ни слова о деньгах. Я могу и на кухне работать. А то и в сортире...

– Нет, ты не вятский лапоть, не тюха! – Она говорила в лицо. – Ты себе на уме мужичок. Все вы себе на уме. Все! Простачками прикидываетесь!.. Не знаю, что ты будешь делать, но чтоб деньги были. Речь идет о твоей семье!

Он увидел в ее глазах тихую злобу. Не досаду, не раздражение и даже не гнев – именно злобу!

– Что с тобой, Ирма? – спросил он и взял ее за плечи. – Посмотри на себя в зеркало...

Она вырвалась и хлопнула дверью. В тот же день на ночь глядя он поехал в Стремянку. Подморозило, на шоссе был гололед, и машину опасно заносило. Сто пятьдесят километров он одолел за три часа, оставалось еще полста по свертку – дороге, напрочь разбитой колесными тракторами. Он свернул на нее, остановился, побродил по глубоким колеям. Под ногами хрустел лед, середина и обочины затвердели, и он решил, что проскочит. Несколько километров он ехал с ощущением, что едет по двум натянутым веревкам. Вдруг автомобиль шатнулся, слетел колесами с обочины и крепко сел на брюхо. Как назло, ни одной попутной или встречной машины не было. Около часа он долбил лед, потел и замерзал: поднялся сильный холодный

ветер. Дог спал в теплой кабине, развалившись во всю длину заднего сиденья. Наконец, откопав машину, он проехал еще немного – история повторилась.

И снова он долбил дорогу, завидую спящему Джиму, а ветер вылизывал обледеневшие снега, свистел в ушах и брэнчал осколками льда. Ему бы вернуться, отказаться от поездки – что делать, если нет в Стремянку пути? – но Сергей упрямо лез вперед. Выкапывался из одной западни – попадал в другую и не ощущал ни злости, ни досады, словно всю жизнь только и делал, что ехал по разбитым дорогам, долбил лед и буксовал облысевшими колесами.

Лишь под утро, потеряв счет времени, Сергей выбрался на околицу Стремянки. Открыв дверцу, он сел на порожек и поискал глазами крышу своего дома или хотя бы трубу с дымом. Нашел, однако увидел, что дыма нет, хотя над всей Стремянкой уже поднимались столбы дымов: ветер прекратился так же неожиданно, как начался. Выспавшийся дог выскочил из кабины и направился к деревне.

– На место! – крикнул Сергей.

Джим послушно развернулся и потрусил назад, обнюхивая по пути дорогу. И тут Сергей увидел старушечью фигурку с санками, бредущую навстречу, притих, спрятался, вы-глядывая сквозь стекло дверцы. То была Лепетушиха. У нее никогда не хватало сена, поскольку сам Петруха Лепетухин много накопить не мог – с самой войны ходил на костылях, подволакивая обе ноги, а помощи ничьей не принимал категорически. Поэтому Лепетушиха тайно от него либо прикупала, либо вот так ходила по дорогам, пока он спал, и собирала оброненное с возов сено. Она прозвенела саночками мимо машины, щепча что-то под нос.

Когда Сергей въехал в деревню, уже светало. Остановился он возле ворот, вошел во двор и увидел на двери замок – похоже, отец был на пасеке. Побродил по двору, заглянул в старую избу, где отец делал ульи, потрогал руками ловкие, ухватистые инструменты и вдруг торопливо, как вор, выскочил на улицу, загнал Джима в кабину и поехал. Навстречу уже попадались односельчане, и Сергей, натянув поглубже шапку, отворачивался, чтобы не узнали и не сказали потом отцу, что был Серега и почему-то уехал: чего доброго, начнет беспокоиться, переживать. Но выдавал Джим. Он высовывался в окно и облаивал прохожих. Сергей поднял стекло, а пес все равно глядел по сторонам и лаял. Джима в Стремянке помнили. Два года назад он передрал здесь всех кобелей.

Обратная дорога была ровная и блестящая, как стекло, – только что прогнали два тяжелых бульдозера.

Потом оказалось, что его все-таки разглядели и узнали в Стремянке. Отец написал обеспокоенное письмо, спрашивал, не случилось ли что, и почему он уехал, даже не повидавшись.

«Я все один да один, – писал тогда отец. – С Артемием много не поговоришь. Конечно, привык уже, только вот к одному привыкнуть не могу: встанешь из-за стола, а спасибо сказать некому...»

Догу наскучило лежать в углу, он поскребся лапой и за-глянул в кабину. Сергей впустил его, погладил короткую жесткую шерсть. Искр не было.

Вдруг вспомнился Сергею эпизод из детства, давно забытый. Однажды перед ужином, по-летнему поздним, проголодавшийся Тимка взял со стола ломоть хлеба и перышко лука. Мать еще только собирала на стол, отец мылся во дворе из бочки, смывал сennую труху, и, по строгим семейным порядкам, вперед его никто не смел прикоснуться к еде. Вспоминать сейчас эту ревностную охрану крестьянских обычаев смешно и грустно, но тогда все было очень серьезно и неотделимо от жизни. Мать сказала поскребышу, чтобы он положил хлеб и лук на место, но тот – мальчонка еще совсем, лет шести – торопливо набил полный рот и стал жевать. И тогда Сергей, только что пришедший с покоса, уставший и голодный не менее, неожиданно для себя стукнул Тимочку по затылку. Он ни тогда, ни потом не мог объяснить себе, отчего вдруг вспыхнула в нем злость – чувство неведомое и всегда казавшееся ему неестественным. То ли оттого, что хотел выполнить, соблюсти застольное правило, а может, и оттого, что был

голоден сам и сам был готов стащить что-нибудь со стола, нарушив строгий обычай?.. Тимка тогда заплакал, широко открывая рот, и пережеванный хлеб с луком вываливался на худые ребячьи колени.

К чему это вспомнилось? И почему именно сейчас, спустя столько лет? Ему до боли в скулах стало жаль поскребыша, и собственная вина неожиданно показалась такой живой, острой, словно все произошло только что...

И тут же откликнулась другая вина, свежая, – перед женой и дочерью Викой. Впрочем, эта вина была относительной, он считал, что не сумеет быть хозяином в доме. Когда братья Заварзины собирались все вместе у отца, тот наставлял:

– Мужики! Вы запомните: семью надо держать в руках! Будет рука – будет семья. Вы не слушайте, что там о равноправии говорят. Вранье. В семье хозяин один – мужик. И все на нем стоит. Я за всю жизнь вашу мать пальцем не тронул, а как шелковая была. Если про любовь говорить, так и она в доме на мужике держится.

Сергей помнил это, но относился к словам отца с иронией. Казалось, у них с Ирмой совсем другие отношения, однако случалось, что он неожиданно ощущал потребность утвердить свою волю в семье. Он будто прислушивался к своему состоянию в такие минуты, сдерживаясь, пытался анализировать: откуда это? Почему? И нужно ли? Но с каждым разом сомнения оставались, как пена на гребешке волны. Разум противился, когда вроде бы помимо воли в нем утверждалась мысль, что отец прав: в семье хозяин один – мужик, и на нем вся ответственность. Сергей делался мрачным, бровей не поднимал. Иногда ловил себя на чувстве, что смотрит на себя словно со стороны и не узнает.

Ирме поначалу это его состояние казалось забавой, супружеской игрой в домострой. Она подхватывала игру, сводила все на шутку, чем лишь раззадоривала еще больше. Первый раз Сергей не сдержался, когда Вике было года четыре и она среди зимы заболела ангиной. У Ирмы в то время шли ночные репетиции – сдавали новый спектакль. Две ночи Сергей калил на сковороде соль и прикладывал к горлышку дочери, а заодно раскалялся и сам, поскольку днем Ирма отсыпалась и ему приходилось в свободные от лекций часы нестись домой, чтобы дать лекарство и сварить кашу. Конечно, нервы у обоих были на пределе.

– Посиди-ка дома, – заявил он, когда Ирма под вечер собралась на работу. – Без тебя там обойдутся.

– Не могу, – торопливо бросила она. – Спектакль горит...

– А я сказал – сиди дома! – отрезал он, слыша в своем голосе отцовские нотки. – Дочь болеет, а она!..

Ирма не пошла на репетицию, и он до самого утра считал, что поступил правильно. Из театра прибегали узнать, в чем дело, однако он ответил коротко и решительно. Утром же, полусонно одеваясь, путаясь в брюках, он глянул на жену и вмиг пробудился. Всю ночь они вместе провозились с дочерью, и теперь Ирма выглядела усталой, обиженной, словно долго плакавший ребенок. Он вспомнил, как закричал на нее вчера, готов был стукнуть кулаком по столу, оборвать все возражения, и поразился себе: да как же он мог?! Ведь перед своей совестью и перед ее родителями было обещано счастье Ирме. Когда-то клялся – люблю, сберегу, не обижу... А тут – как стремянский мужик, еще бы вожжи с гвоздя сдернул, чтоб свой норов показать.

Потом он раскаивался, обещал держать себя в руках, но где-то в глубине души жила уверенность, что он был прав – лезет наружу знакомый отцовский характер.

В общем, так оно и случилось. И теперь снова мучила вина перед женой, перед братом-поскребышем, который остался один на один со своими хлопотами и, похоже, так плохо ему, что он уже не пишет, а кричит в письме. И, видно, правильно кричит: здесь, далеко от дома, не так остро чувствуется боль отца. Или расстояние не виновато?!

Между тем на улице светало. Джим настороженно всматривался в лобовое стекло и слушал далекий вой собаки, запертой в чьем-то гараже. Сергей механически трепал его за холку,

гладил, ласкал; шелкали под ладонью невидимые электрические разряды. Когда совсем рассвело, Сергей открыл ворота гаража и выгнал машину. Обрадованный дог завертелся на сиденье, сдирая чехол, тянулся к баранке, чтобы лизнуть руку хозяина.

– На место! – прикрикнул Сергей.

Джим перескочил назад и выставил голову на улицу.

К лесокомбинату он подъехал к восьми часам. Через проходную густо шли рабочие – мужики, чем-то напоминающие стремянских, когда там был леспромхоз. Сергей подошел к вертушке, сунулся в окошко, попросился пройти к брату.

– К какому брату? – спросила вахтерша. – Пропуск заказать надо.

– Мне к директору, к Заварзину, – сказал Сергей. – Я его брат.

Вахтерша сощурилась, подошла вплотную. Сергея толкали, бесконечно крутилась вертушка.

– Он здесь с весны не работает, – с подозрением сказала она. – Уволили его, а может, сам уволился. Кто их разберет?

– Как – уволили? – не поверил Сергей. – Не может быть!

– А так и уволили! – бухнула вахтерша. – Хорош брат... Может, ты и не брат вовсе?

Сергей втиснулся в угол, пропуская рабочих, снова встал к окну.

– Где он сейчас? Где его можно найти?

– Не знаю, – бросила вахтерша. – Говорят, на другую работу поставили, будто в чермет послали... Не знаю!

– Чермет – это что?

– Да где железо принимают, металлолом! – уже сердилась она. – Отойди, не мешай. Я из-за тебя пропусков не вижу.

Сергей ушел, сел в машину. Дог тихонько заскулил.

– Поехали в чермет, Джим, – проронил Сергей. – Ты не знаешь, где в нашем городе чермет?

Пес лег на заднем сиденье, положил голову на лапы и замер с настороженными ушами.

Чермет оказался за городской чертой. Огромная территория, пересеченная железнодорожными путями, была завалена исковерканным железом. Из черных, ржавых гор торчали автомобильные рамы, трубы, сплюснутые кабины, отдельно, в ряду, стояли разбитые трактора, изношенные троллейбусы, комбайны и грузовики. Чего здесь только не было! Возле холма какого-то белого металлического рванья стоял самолет-кукурузник без винта и мотора; словно удивленный старик, широко разинув беззубый рот, он смотрел на этот разгром выбитыми окнами кабины.

Над холмами покореженного железа царствовал стройный, высокий кран. Он, как рыбак, забрасывал в гущу хлама плоский цилиндр-наживку и тут же вытаскивал рогатый на вид, колючий улов, ссылая его в вагон. Сергей понаблюдал за погрузкой и пошел искать большака. У какого-то мужика, разгребающего кучу мелкого железа, он спросил Заварзина. Мужик положил в сумку ржавую запчасть и показал на ободранный автобус без шасси. Окна были целыми, и какие-то желтые шторы проглядывали через мутное стекло. Сергей подошел к автобусу и осторожно заглянул в окно.

Иона сидел на раскладушке перед столом, наверняка сданным в утиль какой-нибудь столовой: алюминиевые ножки были погнуты. Он ел что-то из консервной банки, ломая хлеб от каравая. Одет он был в костюм-тройку, топорщился вылезший петлей галстук на груди. Он ел с жадностью, с каким-то голодным азартом и, несмотря на свой пижонский вид, походил на изработавшегося, усталого мужика.

Сергей так же тихо отошел от окна и еще раз оглядел свалку. Возле автобуса-конторы стояла машина Ионы, узнать которую и отличить от прочего железа здесь можно было только по

болтающемуся на бампере госномеру. Да еще по цвету разбитого вдребезги кузова. Казалось, человек не должен был остаться живым, если находился в кабине. Из недр исковерканного кузова торчал лопнувший пополам руль.

Стараясь остаться незамеченным, Сергей, скрываясь за горами металлолома, направился к своей машине.

5

Эта, четвертая, пуля вросла в него, как дерево в землю.

Через месяц он почти не ощущал боли, разве что после долгих переходов ломило грудь да когда приходилось забираться на гору или увал, задыхался и, расставив передние лапы, клонил голову к земле, хрипел. Весь месяц он по-коровьи пасся на травах, жрал недозревшие ягоды, исхудал и изголодался. Он ушел со своей земли в живые леса, где было много трав и совсем мало чащоб, где можно укрыться и отлеживаться; кроме того, он вторгся в чьи-то владения и в первые же дни нашел след хозяина. Небольшой свежий след, который заставлял теперь ходить осторожно, с оглядкой, и ни в коем случае не пересекать его.

Однако хозяин, видимо, почуял пришельца, пошел за ним по пятам. По съеденным травам, по скрытности определил, что незванный гость болен. Раненый медведь понял это: стойкий запах другого зверя преследовал его везде. И тогда он стал выходить на кормежку только ночами, соблюдая предельную осторожность. Но молодой, сильный зверь присутствие чужака вынести не мог.

Однажды медведь вышел на овсы. Колос едва-едва обозначился, и не налилось еще питательное зерно, поэтому он ел много, жадно, стремясь до рассвета набить желудок. Болела не только свежая рана, голод разбудил боль в лопатке, неожиданно заболела задняя лапа с пулей в мякоти, загло голову, осаленную дробовым зарядом. И только сытость, только жир, обволакивающий вросшие пули, могли унять эту боль. И здесь, на овсах, он потерял осторожность.

Хозяин появился неожиданно. Видно, долго следил и выгадывал момент. Зверь средних размеров был в трех прыжках, стоял в угрожающей позе, ворчал глухо, утробно. На своей земле, когда туда забредал какой-нибудь шалопай, медведь не делал предупреждений, не угрожал – нападал сразу, бил лапами и с треском выпроваживал: знай место. Хозяин этой земли видел перед собой зверя-гиганта, чувствовал, что он болен, слаб, однако инстинкт уважения сдерживал его от мгновенной расправы. Он словно говорил пришельцу: «Я вижу, что ты стар, опытен в драках, вижу, что ты болен, но уходи подобру-поздорову, я своей земли тебе не отдам. Я порву тебе горло, но не отдам».

Раненый медведь защищался. Он приподнялся на задних лапах, показывая свой рост, трубно зарычал и шагнул к хозяину. Тот бросился стремительно, ударил, норовя полоснуть лапой по брюху. Раненый гость отбил удар, осел на четыре лапы и медленно пошел. Хозяин нагнал его в несколько прыжков, трепанул за «штаны». Медведь прибавил ходу и от следующего трепка поскакал тяжелым галопом...

Весь остаток ночи длилась эта гонка. Медведь пытался уйти в густые осинники с узкими и длинными еланями, где паслись лосихи с телятами, но хозяин упорно отжимал его к реке, в сосновые боры, голодные и бестравные. И пришлось подчиниться. Там, в борах, возможно, был свой хозяин, который, встретив, мог гнать дальше – вон со своей территории. Он бы и там подчинился: такова уж жизнь на чужой земле...

Хозяин выгнал его в бор, но и там не бросил. Медведь уже хрипел, задыхаясь, кровавая пена валилась из пасти, и, видимо, кровь распаляла противника. Еще бы час такой гонки, и медведь, отчаявшись, бросился бы на хозяина; лег бы в этом бору с распоротым брюхом, потаскал бы по земле вывалившиеся кишки, поорал, распугивая воронье, и сдох. Однако все кончилось неожиданно. Медведь выскочил на взгорок и остановился. Перед ним на старой вырубке сквозь молодой подрост просвечивались длинные приземистые строения. Человеческое жилье! Он потянул воздух, но жилье человеком не пахло. Оно вообще ничем не пахло: ни собаками, ни животными. Лишь где-то близко отдавало железом. Хозяин был уже рядом, взревел, и рев его словно подстегнул. Медведь сделал несколько прыжков, и вдруг что-то накрепко опутало и задержало его. Свирепея, он рванулся вперед, путы держали, но все-таки поддава-

лись. Неожиданно справа с земли поднялся высокий столб, мгновение стоял торчком, затем накренился и стал падать. И это напугало его больше, чем расправа хозяина. Неживое не могло двигаться.

Он рванулся еще раз, оставляя на земле клочья шерсти, вырвался и отбежал. Столб рухнул на землю. А хозяин, перепуганный не менее гостя, большими скачками помчался в противоположную сторону.

Медведь перевел дух, сидя с опущенной головой, осмотрелся и отпрянул в сторону. Оказалось, что он сидел под стеной строения. Принюхавшись, он приблизился к барaku, сунулся внутрь – и здесь запах человека давно выветрился. Тогда он осторожно вернулся к месту, где был спутан, обнюхал землю, свою шерсть и скребанул лапой. Из мха поднялась ржавая, но крепкая еще колючая проволока...

Здесь он и поселился, и прожил почти весь месяц. Ночами он спускался в пойму реки, наскоро и жадно жрал зеленую смородину, вяжущую, невызревшую черемуху, заламывая огромные кусты, а потом страдал от запоров, ревел, будто весной, когда вышибал пробку после спячки. Но чаще всего, утолив голод, он бродил по берегу, во множестве ел подорожник на старых тропинках, искал зверобой, цветущую кровохлебку и рыл корни таежного цветка – марьян корень. С рассветом он возвращался в убежище, когда-то оставленное человеком, осторожно переступая проволоку в одном и том же месте, забираясь в полузаваленный барак и лизал сочащуюся сукровицей рану. Весь месяц его никто не тревожил; ни один крупный зверь не смел переступить проволочную черту, обходил стороной. Изредка заскакивали зайцы да какой-то барсук-чистоплюй облюбовал себе место для летнего туалета на старой вырубке близ проволоки. В другое время медведь бы не тронул барсука даже при сильном голоде, но здесь его что-то заставляло начать охоту. Причем осторожную, чтоб взять добычу наверняка. Мясо и сало барсука давало освобождение от ноющей боли. Так уже было, когда он стал шатуном. Глубокой осенью, страдая от раны, он наткнулся на барсучью нору, и сам запах зверя, запах, суливший облегчение, толкнул его на охоту. Двое суток он рыл землю, добываясь до логова. Проще было давить у деревни собак либо караулить сохатых в бурную ночь в осинниках. Однако он, инстинктивно чувствуя целебность барсучьего сала, разрывал нору. И барсук не выдержал – выскочил на снег через запасной выход, тут же утонул в нем и оказался в лапах медведя.

На сей раз охота была сложнее. Барсук был осторожен, прежде чем выйти к туалету, подолгу принюхивался, прислушивался к ночным звукам, надолго замирал, вводя в заблуждение противника. Несколько дней медведь изучал его поведение и одновременно приучивал зверька к своему запаху. Затем умышленно пересек его след. Барсук получил сигнал опасности, долго не решался переступить след медведя, но инстинкт, неумолимый, толкающий на смертельный риск инстинкт охраны своей земли, погнал его через этот барьер. Своими летними туалетами барсук обзаводился вовсе не из своей чистоплотности. Это были «охранные грамоты» территории, граница владений, пограничные столбы, и стоило только среди лета оставить туалет, как землю мог занять другой зверь либо колония. А чтобы взять ее назад, нужно было драться. В шелкопрядниках, на территории медведя, жило несколько колоний барсуков, но он их не тревожил, да и они не очень-то его боялись. Они не были противниками, поскольку жили на разных этажах одной общей жизни, хотя пути их перекрещивались бесчисленно.

На следующий день медведь еще раз пересек тропинку к туалету, а ночью залег возле места, где переходил барсучий след в первый раз. Барсук наткнулся на свежий след, разрядил свою осторожность и, достигнув старого медвежьего следа, уже не ждал нападения.

Медведь оттащил барсука на свою временную территорию, помеченную человеком человеческими средствами, и два дня не выходил из логова.

Пуля, пробившая легкие, вросла между ребер где-то возле позвоночника. Можно было остаться здесь, на чужой земле; набравшись сил и нагуляв жиру, можно было выгнать хозяина, однако его тянуло на свою территорию, в шелкопрядники и чащобы, поближе к медовым пасе-

кам и – увы! – к людям. За многие годы он привык к их присутствию. По сути, они жили на своем этаже, как барсуки; пути его и людей пересекались еще чаще, но то были противники. А поскольку люди находились при пчелах, как при них же находились и собаки, то такие противники были естественны, как укусы пчел. Разве что кусались люди намного злее. Кроме того, к людям тянул какой-то неясный инстинкт, почти такой же, какой заставлял его, больного, охотиться на барсука. Он любил наблюдать за людьми, как любил, например, слушать звук тонкой щепы на пнях сломанных деревьев, играя ею. Или слушать кукушку в звонком весеннем лесу, треск козодоя в вечерней тишине, скрип коростелей на луговинах. Он скрытно подбирался к человеческому жилью, ложился повыше, на колодину, и смотрел. Человек ходил по двору, делал какие-то дела, разжигал совсем не опасный огонь, иногда заводил музыку – и все это вместе каким-то странным образом завораживало зверя.

Спустя месяц после ранения медведь покинул временное пристанище и отправился на свою землю. Он шел новым путем, не спеша, с охотой по дороге, иногда дневал, но ни разу не сбился: он знал, где его территория. Он шел сквозь чужую землю, однако на сей раз хозяин не трогал его, словно угадывал цель похода. Достигнув границы шелкопрядников, он двинулся по ее кромке – по широкой полосе распаханной земли, оборонявшей живой лес от пожаров со стороны мертвого. Кое-где он останавливался, вставал на задние лапы и драл кору на деревьях, подновляя свои «охранные грамоты»: в его отсутствие в шелкопрядники мог забраться такой же скиталец, каким был он сам месяц назад. Пасеки были уже недалеко, иногда ветром наносило их терпкий, сильный запах, будоражащий аппетит. Теперь он ощущал голод всегда и жрал все, что попадало, от жадности нередко теряя осторожность. Эти два ощущения постоянно уживались в нем только в благодатные времена. В другие же одно всегда жило за счет другого, и он чаще всего страдал, как страдает по этой причине все живое на земле, включая человека.

Пометив территорию своим присутствием, он пошел собирать дань с нее, не взятую за долгий срок.

Он шел, не скрываясь, трещал колодником, распугивал ночных зверьков. Порой голодно ревел, оглашая гулкий шелкопрядник. Здесь он не боялся выстрелов и засад: человек в такую пору не смел показываться в мертвом лесу.

Скорее всего потому и поздно заметил человека.

Человек лежал на земле, свернувшись калачиком, натянув на голову куртку. Потухший костерок лишь чуть тлел под пеплом. Рядом валялся велосипед. Медведь остановился, потянул носом и замер. Человек не шевелился, но дышал с хрипом, словно запаленный или раненый. Рой комаров вился над ним, к тому же туча насекомых, которых медведь как знамя нес за собой, немедленно обрушилась на спящего. Тот зашевелился, резко вскочил и начал раздувать огонь, навалив на угли прошлогодней листвы. Потянуло дымом, затем вспыхнул огонек. Человек лихорадочно чесал руки, голову, пытался почесать спину. Зуд от комаров заставил его встать и пойти к дереву. Он прислонился спиной к стволу, потерся, испытывая наслаждение. И действия эти были понятны зверю.

Человек вдруг замер, прилипнув к сушине.

Он был совершенно не опасен медведю, хотя непонятный железный велосипед, вернее, запах железа, настораживал его. Он никогда не доверял железу, поскольку, неживое, оно могло двигаться, могло стрелять, могло остановить на полном бегу, опутав грудь и лапы. Медведь негромко заворчал, отфыркивая запахи. Человек же вдруг бросился к велосипеду и стал трясти его, греметь им о землю.

– Уйди! – закричал он. – Уйди отсюда!

Медведь опустил лапы и побрел, обходя человека.

В заповедный угол своей земли он пришел только перед восходом. Поднявшись на бугор, он некоторое время последил за пасекой нового соседа, увидел собаку, которая, сладко потянувшись на крыльце избы, огляделась и снова улеглась. Запах меда забивал ноздри, дразнил,

заставляя вздрагивать мышцы. Жадность брала свое в ущерб осторожности. Но то было уже другое качество ощущения – риск.

Он дал круг, зашел с подветренной стороны и, не хрустнув ни одной былинкой, проник в леваду. Охота на заре всегда была удачной. Все живые существа дневного образа жизни в это время впадали в особенно сладкий сон. Медведь облапил крайний улей, снял его с колышков и понес. Возможно, ему бы так же бесшумно удалось покинуть пасеку, если бы улей пролез под пряслом. Он потащил его по земле, но жердь скинула крышку и магазин. Тогда медведь схватил то, что осталось, в охапку и побежал в заросли кипрея. Собака вылетела в леваду, и гулкий лай нарушил благодатную утреннюю тишину.

Он уже был за минполосой, когда вслед ударили запоздалые выстрелы. Собака осталась на своей территории, остервенело лаяла, скребя лапами землю, но не смела ступить через полосу вспаханной земли.

Медведь утащил улей в густой малинник на старой гари, вытряхнул рамки с остатками пчел и стал есть, упиваясь сладостью и лениво отмахиваясь от назойливых хозяек меда. Покончив с медом, он еще долго обгладывал, обсасывал рамки, тщательно вылизывал улей, предчувствуя в этом целебность. Все трещины и неплотности соединений улья были тщательно заделаны прополисом.

Он теперь боялся полосы шелкопрядников, где получил четвертую пулю. Поэтому дневать ушел в место неожиданное – к проселочной дороге, соединяющей пасеку с деревней. Он дремал в малиннике, но сквозь дрему слышал все, что творится вокруг. Слышал, как по дороге проехал мотоцикл, затем промчалась грузовая машина, которая через некоторое время вернулась назад, в деревню. И ни в чем происходящем он не предчувствовал опасности.

Едва дождавшись вечера, медведь встал с дневки и, делая круги, поднялся на свой бугор. Его новый сосед вкапывал столбы вокруг всей пасеки и натягивал два ряда колючей проволоки. Проволока была белая, нержавеющей и, по сути, вечная. Она искрилась на солнце, как утренняя росная паутина.

6

Хоть и возвращался Заварзин на пасеку тем же путем, хоть и не высовывался в Стремянку и Артюшу не пускал (куда же с такими физиономиями!), однако весть, что неведомые бандиты, басурмане какие-то поймали бывшего председателя сельсовета с дурачком Артюшей, привязали к деревьям и измывались над ними – слух, приукрашенный страстями и подробностями, в то же утро облетел село.

Чуть за полдень по жарям пропылил красный «Москвич» и тормознул у заварзинской пасеки. Эту машину знали во всей округе, поскольку ездила на ней Катерина Сенникова. Машины были в каждом дворе, а то и не по одной, но за руль садились лишь две женщины – Катя да жена Бармы. Впрочем, Катерина села за баранку от нужды. После смерти отца хотела продать и машину, поселившись на Запани в казенной квартире, однако не стала, съездила в стрелянский магазин раз, другой и обвыкла. В Запани, где река малая впадала в реку большую, стояла сама запань, вечно забитая молевым лесом, и пяток домиков на берегу. Ни ларька, ни лавчонки, так что иголки не купишь. Только на лето открывали винно-водочную точку на квартире у одной из старух. Иначе сплавщики гоняли за спиртным в Стремянку и там на неделю оставались в загуле. Было время, когда Катерина чуть-чуть не породнилась с Заварзинными; старший, Иона, года два гулял с ней, уж и к свадьбе готовились, но в последний момент невеста взбрыкнула и поехала будто бы учиться на белошвейку. Где и чему она училась, было неизвестно, слыхали, сходила замуж, отец ей справил кооператив, а она вдруг вернулась домой. Портнихой была великолепной, но шила лишь на себя. Да как шила! Принцессой ходила по Стремянке, да и только! Все было на ней кружевное, вышивное и вязаное. Так и прозвали ее – Катя Белошвейка. Ей бы всю деревню обшивать, а она пошла работать на водомерный пост и жить поселилась на слиянии двух рек.

Заварзин вернулся из Яранки – все из рук падало. По дороге припомнил весь вчерашний день, ребяток припомнил, лицо рыжего паренька, мальчика в очках, личико девочки, и стало ему невыносимо печально. Он послонялся по пасеке, равнодушно проводил глазами новый рой, который, поклубившись над точком, полетел в шелкопрядники, взялся было качать мед, но на первом же улье его ожалила пчела. В самую переносицу, во вчерашнюю рану. Заварзин бросил дымарь, содрал через голову халат вместе с рубахой и сел на крыльцо.

В это время и подкатила на машине Катя Белошвейка.

– Господи! – простонала она. – Я подумала, врут люди...

Глаза от укуса успели заплыть, распух нос.

– Это пчела, – вяло соврал Заварзин. – Потревожил, вот и получил.

– Вижу, какая пчела. – Катя села за руль; взвыл стартер. – Хоть бы пятак приложил!

Едва ее «Москвич» скрылся в облаке пыли, с чердака спустился заспанный Артюша, заулыбался разбитыми, с засохшей кровью губами.

– Бать, а что она приезжала?

– Машину ремонтировать, – бросил Заварзин. – Пойди умойся.

Катя Белошвейка и в самом деле несколько раз притаскивала на буксире «москвичок», и Заварзин чинил двигатель, менял мост и однажды правил крыло и дверцу, когда Катя опрокинулась возле мельницы.

Артюша пожмурился на солнце, сладко потянулся.

– Бать, а давай посватаемся к ней? Жениться хочу-у... Она вон какая вся бе-еленькая, ровно пенка на молоке.

– Осенью, Артемий, и посватаемся, – серьезно сказал Заварзин. – Женятся-то когда? Осенью.

– Осенью мне идти надо, – озабоченно проговорил Артюша. – Осенью жениться не с руки.

Осенью Артюше становилось особенно худо. Он делался молчаливым, вдохновенным, однако гримаса какой-то боли не сходила с его лица. Поначалу Заварзин спрашивал, не заболел ли он, не сводить ли его к фельдшеру, но потом привык. Артюша почти ничего не ел, не пил, и наконец, одевшись в парадную форму, с погонами и петлицами, уходил неведомо куда. Обычно он возвращался уже по снегу, беспогонный, грязный и худой. Скорее всего он попадал в комендатуру, где с него снимали погоны и отправляли домой. Каждый раз он стирал форму, гладил, пришивал новые, со званием на ступень выше, погоны и на все расспросы отвечал, что был на учениях. После «сборов» Артюша веселел, доставал свои бумаги, рулон шпалер и начинал изобретать. Бывало, просиживал ночами, чертил что-то, писал и иногда вдруг громко и жутковато смеялся.

Ранним утром, возвращаясь из Яранки, Заварзин вспоминал и заново переживал не только вчерашний пожар и нелепую схватку возле него. В памяти неожиданным образом всплыл случай, чем-то очень похожий на этот, но такой давний, что теперь не было от него ни жгучей обиды, ни яркой жажды немедленно отомстить. Наоборот, воспоминание отдалось в сердце теплой грустью и даже какой-то радостью, так что приглушило сегодняшнюю ярость и обиду.

В парнях Заварзин был гармонистом, причем играть начал рано, лет в тринадцать, так что к шестнадцати ни одно игрище, ни одна гулянка без него не обходились. От отца досталась ему русская гармонь, привезенная еще из Вятской губернии, с которой ни одноклассники, ни хромки тягаться не могли, поэтому молодежь гуртилась возле Василия. А гармонист в Стремянке всегда считался первым парнем, если, конечно, не зазнавался и не ломался, как худая девка. Чаще всего ему доставалась самая красивая невеста, первый стакан на гулянке, да и верховодил среди парней чаще всего гармонист. Иногда стремянские ходили ватагой в Яранку, яранские, в свою очередь, – к стремянским, и тогда гармонисты обоих сел играли до рассвета. На одном из таких игрищ Василий Заварзин и присмотрел Дарью. Случилось это летом, перед самой войной. Молодежь в Стремянке, словно предчувствуя ее, веселилась как-то азартно, взахлеб; будний ли, праздничный вечер – все равно пляски до утра. Однако вдруг стал пропадать гармонист. Вроде только что был, играл на берегу, говорят, спустился к реке воды попить – и будто в ту воду канул. Потом уже кто-то видел его бегущим по яранской дороге с гармонью под мышкой.

Два вечера Василий только и погулял с Дарьей, посидел с ней вдвоем за околицей, потом на скамейке у ворот, а на третий Иван Малышев скараулил Заварзина, когда тот возвращался домой, взял за грудки и сказал коротко:

– Увижу с Дарьюшкой – гармонь пополам!

Они были ровесниками, но Иван уже тогда выглядел мужиком: и ростом повыше, и в плечах пошире Василия – молотобойцем в кузне работал. Заварзин на это сыграл ему «Барыню», помахал фуражкой и на следующий вечер снова прибежал в Яранку. Он, не скрываясь, пришел на игрище, но Дарьюшки там не нашел. Парни и девки уже расходились по домам. Тогда он направился к ее избе, однако возле клуба из темноты неожиданно появился Иван Малышев. За ним, едва различимые, стояли два парня.

– Говорил же тебе, – сказал Иван и вдруг вырвал из рук гармонь, кинул ее товарищам.

Василий ударил его головой под дых, успел махнуть кулаком и в следующий момент уже был на земле. Потом они сцепились, молотили друг друга наугад, катались, вскакивали, барахтались, и пока рвали рубахи – парни где-то рядом рвали гармонь. Они тянули ее, мучили, однако крепкие хромовые мехи не поддавались. Кто-то из них догадался пробить колом дыру в мехах...

Когда Василий в очередной раз поднялся, чтобы броситься на соперника, тот прихватил товарищей и скрылся в темноте. Василий погрозил кулаком и наткнулся на половину гармошки. Другой половины, сколько ни искал ее, шаря руками по земле, так и не нашел.

Он бежал в Стремянку, прижимая к груди остатки гармонии, плакал от ярости и уже видел, как завтра он соберет своих парней и поведет бить яранских. Всю ночь он не мог уснуть, отмыывал в бочке с водой разбитое лицо, прикладывал к синякам обух топора и с жалостью смотрел на разорванную гармонь. С рассветом залез на сеновал, вынул из гармошки медную планку и стал дуть в отверстия, извлекая тихие, печальные звуки.

Наутро все стремянские уже знали про Заварзина и готовились пойти отомстить яранским за гармонь и гармониста. Готовились тихо, чтобы не будоражить старшую часть населения, но весело и азартно. Успокаивали Василия:

– Контрибуцию возьмем водкой и гармониями. Все до одной твои будут! А Ванька Малышев попляшет!

– Я его наголо, наголо остригу! – кричал Барма и шелкал овечьими ножницами. – Три года не точены!

Чем бы тогда все кончилось? Давненько вятские стенка на стенку не сходились, память об этом лишь в разговорах осталась да в шрамах на лицах мужиков. Ярились стремянские, подогревали друг друга и чуяли, что замышляют дело суровое, кровавое. В иную минуту оторопь брала, но пути-то назад уже не было...

Чем бы кончилась та последняя кулачная битва, если бы черные тарелки динамиков в избах вдруг не заговорили густо и разом – война, война! война!!

Поздно вечером того же дня в Стремянку пришла Дарьюшка. Она отыскала Василия и развязала перед ним узел из черного платка, где была вторая половина гармошки – басы и кусок мехов...

Вот так в тот раз война примирила, а что же нынче делать? Ведь и обида не та, и мстить-то вроде некому! Этим парням, что ли? В суд подать, чтобы по закону разобрались и наказали, – да ему, депутату, стыдно с пацанами судиться!

А они между тем лесопосадки рубят, избы жгут.

Но ведь не учили их этому!.. «А почему не учили? – вдруг ухватился Заварзин. – Лес-то рубить, тот, что когда-то ребячьими руками посажен, – разве это не наука? Да еще какая наука!.. Скорее всего их не учили ценить чужой труд... Не успели научить...»

Отправив Катю Белошвейку, Заварзин все-таки стал качать мед. Пчелы разлетались по всей пасеке, набивались в избушку, где стояла медогонка, поэтому Артюша, как всегда, спрятался на чердаке. Натаскав медовых рамок, Заварзин запустил мотор электростанции, включил медогонку и в работе чуть отошел от грустных размышлений. Но не прошло и часа, как на проселке запылила новая, но уже побитая и помятая «Волга» Гоши Сиротина. Крышу у кабины Гоша срезал автогеном, когда только купил машину, и на зиму привинчивал ее болтами.

– Благодать, благодать, – говорил он. – Крышу снял, обдувает, обдувает.

С детства Гоша носил прозвище Барма и настолько привык к нему, что и сам называл себя Бармой и так же расписывался.

Считали, что ему поразительно везет. Огромная его пасека была запущена, стояла полудикая, неухоженная. Весной он выкидывал ульи из омшаника, ставил их на чурки, на старые магазины, а то и вовсе на крышу; чтобы не возиться с роями, кидал десяток пустых ульев, все лето качал мед, встречал и провожал толпы гостей, гулял с ними; осенью, без всякой подкормки и проверки, пихал пчел в омшаник; если не влезали, оставлял на точке, притрусив сеном, и зиму снова гулял. И ни тебе мора, ни поноса, ни прочей напасти, что случались на других пасеках.

– Пчелы, пчелы у меня – во! – говорил он и показывал вытянутый большой палец. – С ведром летают, с ведром! Они у меня закаленные, я их тренирую, тренирую.

Единственное, что он делал для пасеки, – каждый год распахивал гектара три гари и сеял гречиху. В каком-то леспромхозе он сумел купить старый трелевочный трактор, в колхозе выменял на мед двухкорпусной плуг и пахал. Потом брал дедовское лукошко, разувался и сеял.

– Благодать! – радовался он, ступая босыми ногами по черной земле. – Шшикотно, шшикотно-то как!

Всю зиму стаи мелких пичуг, слетаясь со всей округи, расклевывали несжатый урожай.

...Барма подрулил к избе, лихо тормознув у ворот, встал облокотившись на ветровое стекло.

– Во, разуделали! – закричал он. – Они так нас поодиночке-то всех перехлещнут! Только волю дай, волю! Давай соберемся все да пойдем. У меня ребята есть, ребята шустрые! Натравлю, натравлю – вмиг хари начистят!

– Там чистить некому, – сказал Заварзин. – Ребятишки...

– Они нынче зубастые все! К пожилым никакого уважения.

– Слушай, Георгий Семеныч, а ты слыхал, зачем они посадки рубят?

– Дурость, дурость, – отмахнулся Барма. – Пахать-то – другого места прорва, любую гарь. Паши да сей. Работу, работу потрудней ищут. Чтоб интерес был. Счас так: чем трудней, тем больше, больше интересу. Романтика. Характер закаляют. Закалят и бросят.

– Избы жгут, – вздохнул Заварзин. – Вчера Ивана Малышева избу спалили... А такая изба. Что, и жгут для закалки?

– Всё, всё так. Мы в нужде, в нужде закалялись. Они теперь сами, сами нужду ищут. В огонь – в воду, в огонь – в воду. Вот и закалка, вот и интерес.

Заварзин сел на пустой ящик, свесил руки между колен.

– Не горюй, не горюй! – приободрил Барма. – Только слово скажи – мои ребята так уработают...

– Ничего я не хочу... Сыновья не едут. Тимка частенько заскакивал, и того нет.

– Тимка браконьеров, браконьеров душит, – захохотал Барма. – Правда – нет: его баба шестого родила?

– Родила, – вздохнул Василий Тимофеевич. – Съездил познакомился. Поняничиться хотел, да тут пасека, ребятишки эти...

– Опять девка?

– Девка...

Барма захохотал еще громче. С чердака высунулся Артюша и тоже засмеялся.

– Георгий Семеныч, а ты мне ружье обещался купить! – напомнил он.

– Ружье-то? Куплю, куплю, – посулил Барма. – Я те хошь ружье, хошь автомат куплю.

– Автоматы не продаются, – сказал Артюша. – Мне ружье надо, оборотня стрелять.

– Какого калибра тебе?

– Чтоб пуговка лезла! – обрадовался Артюша, соскочил с чердака. – На вот, для мерки! Примерь и покупай!

Он подал Барме пуговицу. Тот спрятал ее в карман. Заварзин исподтишка показал ему кулак.

– Чего, чего ты? Пускай парень тешится. Хоть ружье будет... Вы оба тут сидите, морды порасквасили. Ойда ко мне! Ойда! Мои ребята телевизор привезли, а с ним это, это... Кино показывать! Магнитофон! Из самой Японии!

– Видал я, – отмахнулся Заварзин. – У Сергея Петровича смотрел.

– Дак у меня кино, кино! – Он наклонился к Заварзину: – Баб голых показывают! Голых-голых! В чем мама родила!.. И это самое...

– Батя, поехали! – вскочил Артюша. – Поехали, глянем? Баб голых?

– Женишься – и посмотришь, – буркнул Заварзин. – На живую...

Артюша поскуchnел. Барма засоби́рался, попросил Артюшу крутнуть рукоятку. Когда «Волга» завелась, он зачем-то посигналил и, разворачиваясь, сказал:

– А я теперь каждый день, каждый день гляжу. Шшикотно! Баба моя орет: утоплю, утоплю! Тась-Тась, грю, не топи. Ребятам скажу, про голых мужиков кино привезут!

Он засмеялся и поехал и на ходу, оборачиваясь, все еще что-то рассказывал и хохотал. Машина виляла по проселку, прыгала на валежнике и дребезжала, как немазаная телега.

Заварзин посидел возле ворот, и ему стало еще печальней.

«А к Вежину-то сыновья наверняка приехали, – ревниво подумал он. – Сидят, поди, с отцом, за пасекой ходят...»

И, вспомнив о сыновьях Вежина, которые каждое лето приезжали на два месяца, Заварзин тут же вспомнил Сергея. Тоже ведь ученый, преподавателем работает, и отпуск у него двухмесячный, а не едет. Хоть бы на недельку завернул... И вдруг застучалась обидчивая мыслишка: небось, когда кооперативные квартиры двум старшим строил, а потом всем трем по машине справил, – нужен был батя. Каждую неделю ездили, на пасеке помогали, тряпье всякое возили, ковры. А кому теперь все это? На что?.. В стремянском доме Заварзин жил только зимой, а с ранней весны до поздней осени переселялся на пасеку и навевывался в деревню разве что за продуктами. А чаще Артюшу посылал, на велосипеде. И «Волга», купленная одновременно с Барминой, стояла неезженная в гараже. Может, и не купил бы никогда машину, мотоциклом обошелся, да на сей раз чуть ли не силком заставили. Дело в том, что талон на покупку «Волги» пришел как премия за перевыполнение плана по сдаче меда. Перевыполнял всегда, но талон был впервые, к тому же выяснилось, что на его имя приходило уже четыре машины, да их в районе кому-то продали. Тогда и вмешалась прокуратура, началось разбирательство, шум. Приехал председатель райпо, сгрузил «Волгу» возле заварзинского двора – злой, обиженный кем-то – в избе даже шапки не снял.

– Вот документы, – сказал он. – Машина у ворот. Давай деньги!

Так вот и купил машину. Сел Василий Тимофеевич опробовать ее, огляделся, присмотрелся и понял, что на машине уже кто-то ездил. Хоть недолго, но вот и кожа на сиденьях подвытерлась, и руль чьими-то руками захватанный, и подфарник лопнувший. На спидометре же – шесть километров пробега. Закрыв он ее в гараж, где мотоцикл стоял, и пропала к ней и без того слабенькая охота. Как-то большак Иона приехал, говорит: давай, батя, махнемся на «Жигули»? Иона к тому времени в большие начальники вышел, директором лесокомбината стал; ему бы на «Волге» как раз было, но сел Заварзин в сыновью машину, приняхался, ощупал ее, и вдруг показалось ему, что своя-то «Волга» то ль роднее, то ль уже привык, хотя сидел в ней раза два всего. Не поменялся, отказал. Единственный раз. И так – всё им.

И вот теперь обида ныла пчелиным ожогом. Жалко не денег, а тех отношений, которые когда-то были в их семье, еще при живой матери. Да и после ее смерти все еще казалось хорошо. Ребята приезжали, привозили своих первенцев, жен, друзей; собирали застолье. Хоть и хватало места всем в старой избе, однако, по совету сыновей и особенно невесток, Заварзин затеял строить новый дом, двухэтажный, какими с начала пчеловодства постепенно зарастала Стремянка. Нанял плотников, купил лес, и за год отгрохали домину – глянуть страшно! Шапка валится! Под железной крышей, с верандами, круговым гульбищем по-старинному, резными наличниками. Всем семейством справили новоселье, после чего стали собираться еще чаще. Каждый раз, провожая сыновей, снох и внуков, Заварзин рассовывал по багажникам подарки, денег давал и выходил на середину улицы – помахать рукой. Махал и чуть не плакал от счастья.

Однако с каждым разом он начинал чувствовать нечто подобное тому неуловимому, витающему чувству, которое было при несостоявшемся обмене машин. Жизнь в новом доме чужела. И случилось это потому, как решил Заварзин, что изба-то уж слишком велика. В старой, строенной еще дедом-переселенцем, все были на глазах, все в одной куче. Один внук ревет, другой смеется; одна сноха мужа пилит, другая тут же со своим обнимается. Здесь, в

новых хоромах, как разбредутся по своим комнатам – не сыщешь. А что уж вообще происходит в доме в сию секунду, вовек не узнаешь. Стены прочные, капитальные – ни звука. Заварзин не раз в шутку говорил, дескать, к следующему приезду сделаю из всей избы только две комнаты: одну на первом, другую на втором этаже, как в коммуне было. Веселил, а веселья-то было немного. У каждого из сыновей возникали какие-то проблемы, дела, текучки. То один не смог на выходные приехать, то другой. Заварзин понимал: растут мужики! Вон уже людьми командуют, наукам учат, реку от браконьеров защищают. На ноги встали – пускай идут, пускай широко шагают, только б штанов не рвали.

По-прежнему часто ездил младший сын Тимофей. Жил ближе всех, в райцентре, да и работа на воде, мимо бати не проедешь. Но сейчас, когда заныла обида в сердце, Василий Тимофеевич неожиданно с болью предположил другую причину его верности отцовскому дому. Вернее, факт под нее подогнал. Как-то уж сложилось, что на рождение каждого внука Заварзин давал тысячу, преподносил вроде премии за перевыполнение плана. Потом на каждые именины – подарок, а к школе – еще по пятьсот рублей. Это не считая всяких неожиданных расходов: кого в больницу положили, кому срочно что-то купить...

Пасека же – вот она, что ни год – тысячи чистыми приносит. Это ведь надо еще придумать, что делать с такими деньжищами! всю жизнь Заварзин тянулся, копейки считал, на зарплате жил, а здесь валяются тысячи, и чувство такое, будто они чужие. Приехал как-то Иона – на машине перевернулся, спасал какого-то пешехода и отвернул под откос. Дал на ремонт. Примчался младший: казенный снегоход ему никак не давали, здесь же в магазин привезли, надо брать. Зимой за браконьерами много не набегашься, они все на «Буранах», только рыбнадзор на старом мерине. Святое дело – купили. Старшенький произвел на свет единственного внука – получил все причитающиеся вознаграждения, взял аванс под следующего, но не оправдал. Потом еще раза два брал, все говорил: «Катя беременная (жену его звали так же, как и Белошвейку), а выносить не может». Тогда Заварзин дал денег, чтоб на курорт ее свозить, полечить – и это не помогло. Средний, Сергей, тоже родил одну, внучку Вику-Викторию и закончил на этом продолжение рода. Тот не просил авансов, но Заварзин сам посылал, на музыкальную школу: талант оказался у внучки. Зато младший старался один за всех. Что ни год, то прибавление. Жена у него, Валя, женщина деревенская, крепкая, как с куста девок снимает. Тимофею же все сын нужен, не дождется никак. Ему двадцать девять лет, а семья – девять душ, девять ртов прокормить надо. Теща колхозную пенсию получает – копейки, Валя не работает. У поскребыша зарплата – сто двадцать рублей. Поэтому как ни заедет Тимофей – две-три сотни увозит. Сначала, заехав, помочь старался – с пасекой, с дровами, суетился что-то, потом стал просто брать и уезжать, мол, прости, батя, некогда, браконьеры одолевают, как ни говори, один на весь район. И ладно бы, но Заварзину-то хотелось, чтобы он посидел с ним, поговорил, пожил бы в родном доме. А сын пару сигарет выкурит одну за одной, сунет окурки под заворотье болотного сапога, чтоб не сорить, и – бегом на реку. Сколько его просил – привези внучек, тех, что постарше, пускай на пасеке поживут, на пчел поглядят, между делом бы и с ними управился. Но Тимофей ни в какую: дескать, пусть матери помогают. Лето, огород, покос – хлопот по горло. Тут уж не до отдыха. В большой семье некогда скучать и от скуки на отдых ездить. А то, поглядишь, едут сами на море и чадо везут. Чадо ломается, как копеечный пряник, – этого не хочу, то мне не надо. У Ионы с Сергеем по одному, так избалованные – верхом сядут и ноги свесят. Что из них вырастет?

Старшие, Иона с Сергеем, последние два года вообще не показываются. Правда, Иона в прошлом году заскочил, когда машину хотел сменять, но стоило Заварзину отказать – уехал и даже не ночевал. И почувствовал Василий Тимофеевич в его разговоре обиду: мол, Тимофей что ни попросит – все ему есть, а остальным ничего. Понятно, дескать, поскребыш, любимчик.

И тогда Заварзина прорвало. Потом покался, но в тот момент не удержался:

– А вы рожайте! Рожайте! И вам дам! Тимке даю, потому что семьища у него! Кормить надо! Ваши бабы не рожать хотят, а жить, как сыр в масле! Королевами ходят, расфуфырились!.. Валя Тимкина, видал, в чем одета? Потому что ребятишки и по хозяйству ломит, две коровы – шутка?

– Да брось ты, батя, – отмахнулся большак. – Тоже мне, борец за рождаемость! Нашел чем стимулировать...

Хлопнул дверью и упылил на своем «жигуленке».

Сергея Заварзин все в отпуск ждал. В письмах-то обещался приехать, время называл и не ехал. Вместо него вдруг пожаловали сват со сватьей, которых Заварзин и не видывал сроду. Жили они в Новосибирске, оба тоже научные работники, на свадьбу почему-то не приезжали, да и свадьба-то у Сергея была – ни к селу ни к городу. Заварзин приехал с гармонью, думал погулять, поплясать, как раньше бывало, а они вечеринку собрали на какой-то квартире (тогда еще кооператива не было), выставили на стол сыр с чесноком, свеклу с чесноком и селедку с чесноком. Потом еще жареную курицу принесли, одну на всех, и тоже с чесноком. Да бутылку шампанского выставили. Вот тебе и весь свадебный стол. Заварзин на это дело тысячу рублей посылал, а поставили – на десятку. Люди собрались, сидят – стыд и позор перед людьми. К тому же Заварзин чеснок терпеть не мог, и вышло, что на свадьбе ни выпить, ни закусить. Отозвал он Сергея, дал сотню – беги в магазин, хоть что-нибудь купи, неудобно перед гостями. Но сын засмеялся и заверил, что в этом доме так принято. Заварзин плечами пожал: в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Сидел в уголке и слушал, о чем люди говорят. А они о женихе с невестой словно забыли, ни разу «горько» не крикнули, все о каких-то людях говорили, какие они хорошие, умные и если надо – всегда помогут. И Сергей тоже сидел и все слушал, только глазами с одного говорящего на другого переводил. Заварзин тосковал, щупал у гармошки пуговички и ждал, когда кончатся разговоры и попросят сыграть. Но его не просили. И вдруг Василию Тимофеевичу стало жаль Сергея. Больно уж непонятная семья была, куда он попал, и люди непривычные. На следующий день, когда остались они вдвоем, Заварзин начал было высказывать свои сомнения, но Сергей попросил его поиграть на гармошке. И он играл, глядя в окно, и игра была печальная, несвадебная...

Сват со сватьей прикатали осенью. Заварзин приехал с пасеки – возле дома незнакомая машина, решил: кто-то из города, за медом. Представительный такой мужчина вышел навстречу, улыбнулся, руку протянул.

– Здравствуйте, здравствуйте, Василий Тимофеевич, – сказал он. – Рад познакомиться! Родственники ваши.

– Сват?! Сватья?! – угадал и обрадовался Заварзин. – Так пошли в избу, чего стоим? От гости какие пожаловали! От уж не ждал – не гадал!

Сват со сватьей, не снимая плащей, обошли дом, в каждую комнату заглянули, и все им понравилось.

– Вы бы хоть приехали когда, – говорил Заварзин, шагая на ними следом. – Пожили бы месяц-другой, отдохнули. Тут и воздух, и мед, и молоко у соседей брать можно.

– Так и быть, на будущее лето приедем, – согласился сват и сел в передней, помахал шляпой.

– Да вы раздевайтесь! – в который раз напомнил Заварзин. – Я сейчас стол соберу...

– В следующий раз, Василий Тимофеевич, – заулыбалась сватья. – Ехать нужно, дорога...

– Есть ли у вас прополис? – спросил сват.

– Прополис? – сник Заварзин. – Да есть...

– Не продадите ли нам? Мы заплатим.

– Что ж продавать-то? – совсем растерялся Заварзин. – Мы ж свои...

– Нам много надо... Сколько у вас есть.

Прополис был, стоял с весны, приготовленный на сдачу. Заварзин достал из ларя четыре ящика с прополисом, по просьбе свата погрузил в машину. А новая родня стала тут же прощаться и усаживаться, втискиваться в «Волгу». Мотор уже заработал, когда Заварзин спохватился: подарка-то не послал! Замахал рукой, притащил флягу меда, положил в багажник.

– Чайку попьете, – приговаривал он. – Больше и послать нечего...

«Волга» поехала месить грязь по стремянским улицам и дорогам. А Заварзин в тот день долго не мог прийти в себя: вроде встретил нормально, ничего такого не сказал, а будто обиженные уехали...

Чем больше мучил Заварзин свою память, тем сильнее ощущал какую-то неловкость и стыд. В иной момент аж уши горели. За все сразу было стыдно, хотя умом-то понимал, что нет такой причины. Его избили, даже потешались над ним – а стыдно ему. За Ощепкина стыдно, что он видел все и даже пальцем не шевельнул, чтоб помочь, чтоб за яранские избы постоять, за лесопосадки. И что сыновья все больше чужеют, от родного дома отбиваются – опять ему стыдно. Куда ни кинь – везде он, Заварзин, виноват. А видно, все потому, что жизнь с давних пор и в Стремянке, и в своей семье словно роилась вокруг него, как пчелы роятся вокруг матки. Так бы и дальше всегда казалось Василию Тимофеевичу, не случись этого пожара в Яранке...

Тем временем Катя Белошвейка остановилась недалеко от Яранки, около сосновых лесопосадок, и вышла из машины. Трудовой десант рубил деревья. Мальчики работали увлеченно и даже самозабвенно. Посередине вырубки дымилась и никак не хотела гореть куча сырого сосняка.

– Кто старший? – спросила Катя.

Рыжий не спеша подошел к ней, играя топором и на ходу делая замечания ребятам.

– Ну, я, – сощурился он. – В чем дело?

– А постарше тебя есть кто?

– Учитель в деревне...

– Так, – сказала Катя. – Сейчас вы у меня помотаете соплю на кулак... Кто вчера наших мужиков бил?

Ребята молча подтягивались к ним, переглядывались, вытирали потные лица. Рыжий усмехнулся, справившись с замешательством, и приказал:

– Чего столпились? Всем работать!

– Стоять! – отрезала Катя звонким голосом. – Вы хоть знаете, кого били? Вы своими куриными мозгами соображали – нет?.. Все по тюрьмам пойдете! Наплачутся ваши матери, нахлебаются слез!

Не медля больше, она круто развернулась и пошла на дорогу, села в машину. Десант остался среди вырубки, стоял, опустив руки с топорами, и боялся моргнуть, словно перед объективом фотоаппарата.

А Катя Белошвейка остановилась возле заброшенного яранского клуба, глянула на свежий пепел сгоревшей избы, на черную от копоти печь, торчащую среди пожарища, и направилась к брезентовому навесу. Девочка в белом халатике и таком же колпаке хлопотала около кастрюль на летней печи, а мальчик в очках колот дрова.

– Ага! – сказала Катя громко. – Теперь все ясно. Ты одна в этой банде?

– Одна, – вымолвила девочка.

– Значит, из-за тебя сыр-бор! Это они перед тобой турнир устроили и наших мужиков били? А ну, иди сюда!

Она смахнула колпак с головы девочки и ловко схватила за волосы. Девочка завизжала, а мальчик бросил топор и побежал в клуб.

– Тетенька-а! Я не виновата! Они сами...

– Я тебе покажу, как парней баламутить! – приговаривала Катя и таскала ее за волосы. – Ишь ты, стервочка! Это из-за тебя мужиков бьют, из-за тебя избы жгут? Я тебе локоны-то повывергаю! Я тебе кудельки твои растреплю!

На печи сбежало молоко, дым вырвался из-под навеса. В этот момент из клуба вышел заспанный мужчина и в первое мгновение растерялся. Катя выпустила девочку, мимоходом сбросила крышку с кастрюли и устремилась к мужчине.

– Ты учитель? Ты, подлец, чему детей учишь? Ты что им позволяешь? Ты же их всех под тюрьму подвел! Но ничего, и ты с ними вместе сядешь! Я это устрою! Я тебе такое устрою – наших мужиков навек запомнишь! Жена твоя слезами умоется!

Пока учитель приходил в себя, Катя Белошвейка была уже в своей машине. Он побежал за ней, замахал руками, однако над дорогой вихрилась только пыль и едкая бензиновая гарь. Красный «Москвич» остановился у ворот старика Ощепкина, за которыми с глухим подвывом залаял цепной кобель.

– Эй, дед! – крикнула Катя. – Убери собаку!

Ощепкин вышел из избы, облокотился на калитку. Из сенцев выглянуло настороженное старушечье личико.

– Ты же Егорки Сенникова дочка будешь, – узнал старик. – А Егорки-мельника внучка. Знал, знал я деда твоего...

– Ну-ка, дед, скажи мне, – оборвала Катя, – ты почему такой стал? Ты почему взаперти сидишь, когда деревню жгут и мужиков бьют? Видал, что вчера ночью было?!

– Видать-то видал...

– В свидетели пойдешь! Вместе со своей молодой старухой первым в суд побежишь. Понял?

Старушка испуганно перекрестилась и захлопнула сеночную дверь.

– Ишь ты, Кощей Бессмертный! Нагородил заповор, так думаешь, отсидишься? Моя хата с краю?..

– Дак моя старуха боится, – выдавил Ощепкин. – Непривышно ей эдак жить... Чуть уж не плачет.

– Приехала – пускай привыкает! – отрубил Катя. – Видали – чуть не плачет!.. И поплачет – не беда, полезно. Может, глаза промоет!

Катя села за руль, пронеслась мимо клуба, мимо сгоревшей избы, затем мимо свежих порубок на лесопосадках и, свернув на какую-то зарастающую дорогу, остановилась, огляделась по сторонам, и плечи ее опустились. Она склонилась к баранке и заплакала. Птицы в том месте пели звучно, разноголосо, так, что заглушали все другие звуки...

Заварзин промаялся чуть ли не до вечера. С горем пополам выкачал отобранные из ульев рамки, слил мед во фляги и, липкий, перемазанный, пошел умываться к роднику. Сначала вымыл руки, лицо, но ощущения чистоты не было. Тогда он разделся и залез в яму с водой, куда бежал родник. Обжегся холодом, нырнув с головой, отфыркался и услышал треск мотоцикла. Кто-то ездил по кромке шелкопрядников, прямо по гарям. На несколько минут мотоцикл стих, но потом снова завелся и умчался куда-то в сторону пасеки Бармы. Заварзин, боясь шевельнуться, чтобы не поднять со дна ил, стоял по горло в воде, привыкал к холоду. И снова ему послышался гул, только теперь на проселке. Кто-то ехал на пасеку, а Заварзину и видеть никого не хотелось. Скоро сквозь траву он заметил Ивана Малышева и закричал:

– Иван! Ваня! Иди сюда!

Иван, озираясь, покрутил головой, подъехал к роднику. Не поздоровавшись, хмуро спросил:

– Ты чего? Холодная, поди...

– Жарко, – пожаловался Василий Тимофеевич. – Ко мне сегодня, как на поминки: идут, идут...

Иван сел в траву, стащив фуражку, вытер ею широкую лысину.

– Ваня, избу-то твою вчера сожгли! – сказал Заварзин и полез из ямы – соскользнул назад, взмутил воду. – На моих глазах сгорела! Запалили и плясали...

– Знаю... – пробубнил Иван и отвернулся.

Заварзин вылез, подрагивая, сел на солнце.

– Жалко избу. Ей бы еще сто лет стоять...

– Ну и хрен с ней! – вдруг рывкнул Малышев. – Спалили и спалили! Жалеть ее... Теперь душа успокоится.

Василий Тимофеевич смотрел, как падает на дно, медленно оседает черная муть под родником. С Иваном они вместе воевали. Брали их в один день, уходили с яранского сборного пункта одной дорогой, а вернулись каждый своей. Заварзин пяти километров не дошел до Берлина, потом протопал через Большой Хинган, побывал в Китае и оттуда прямым ходом в Прибалтику – выковыривать банды националистов из подземных бункеров. Пришел только в сорок шестом – двадцать пятый год наслужился по уши. А Малышев в сорок четвертом, во время прорыва фронта немцами, контуженным попал в плен, а бежал уже из Польши, нашел белорусских партизан, навоевался и нагляделся на оккупацию, был тяжело ранен и угодил на какой-то хутор, к старухе-знахарке. Там его вылечили и женили на старухиной дочери, что была на пятнадцать лет старше Ивана. На свою родину он вернулся лет семь назад, когда Яранка уже пустовала, поэтому Малышев поселился в райцентре, где жили яранские.

Иван сидел спиной к Заварзину, и тот видел лишь багровый рубец шрама – от виска до плеча, и круглую, черную от пыли дырочку уха без ушной раковины.

– Тебе бы сразу надо было в Яранку ехать, – пожалел-посоветовал Василий Тимофеевич. – Смотришь, и дом бы остался, а то и деревня ожила... Другие бы потянулись.

Малышев набычил шею и резко обернулся.

– Не мог я туда! Не мог! – И постучал себя в грудь. – Приехал – кладбище, не деревня... Хожу – зубы ломит. На кладбище жить нельзя, Тимофеич!

В его глазах накапливалась чернота, подрагивали на коленях руки.

– А ведь тебе благодаря, Тимофеич! – вдруг сказал он. – Ты у меня Дарьюшку отбил, гармонист!.. В Яранку приеду – голос ее на слуху стоит... Потом я в Белоруссии остался... А изба моя...

Он лег на траву, уткнулся лицом в землю. Пропыленная рубаха на спине обтянула мощные плечи и, поношенная, просвечивающаяся, треснула по шву.

– Перевезти все хотел, – полушепотом проговорил он. – Соберусь – нарушать жалко. Крышу еще подлатал в прошлом году... Печь там стояла, с батей еще били, до войны. Думаю, пропала печь... А затопил – тяга. Такая тяга...

– Печь-то осталась, – мягко вставил Заварзин. – Даже труба не упала... Черная сверху, а стоит.

Малышев ударил кулаком в землю – рубаха разорвалась на спине от воротника до пояса.

– В суд подам! – Он встал. – Ты за себя как хочешь – я подам! Не могу!.. Денег мне на избу не надо. Хочу, чтоб судили!

Он круто повернулся и пошел. Длинные руки болтались ниже колен, пальцы расчесывали траву, хлопала прореха на спине. Развернув мотоцикл, он крутанул ногой стартер, спросил не глядя:

– В свидетели пойдешь, Тимофеич?

– Пойду, – сказал Заварзин.

Иван сел в седло, включил скорость. И поехал не быстро, даже как-то аккуратно. Мотоцикл – старый «Урал» с коляской – тяжело переваливался с боку на бок по проселочным ухабам. И тяжело качался из стороны в сторону его седок.

Не чаял Заварзин, что в тот день придется еще встречать гостей, причем неожиданных. Он забрался в подпол, чтобы нацедить медовухи, отвернул самоварный краник, вкрученный в лагушок, и услышал Артюшу.

– Батя! – орал он так, что было слышно в подполе. – Батенька! Бежим! Идут! Пожа-ар, батя!!!

Заварзин как угорелый вылетел из подпола, нюхнул воздух, бросился к двери и чуть не сшибся с Артюшей. Объятый ужасом, Артюша сиганул под кровать, забился там в угол и только поскуливал.

– Артемий! Что? Что такое? – заволновался Василий Тимофеевич. – Где пожар? Ты что?

– Прятайся, батя! – страшным шепотом сказал Артюша. – Идут! Жечь будут!

Заварзин вышел на крыльцо и встал, ухватившись за столб навеса.

По проселку плотной толпой шагали люди. Он узнал их, хотя видел и помнил лица немногих. Сразу заметил рыжего, различил парня в очках, девочку с розовым личиком. Они подходили нехотя, но возбужденно переговаривались, махали руками, указывая на избу.

«Ну вот, пожаловали», – подумал он спокойно, но ощутил слабость в ногах, свело морозцем кожу на затылке. Он пробежал взглядом по двору, заметил багор на пожарном щите, ловкий такой, хватистый...

Толпа приближалась к воротам. Заварзин сошел с крыльца, встал так, чтобы в любой момент снять багор. Однако парни словно по команде остановились, сгрудились, глядя сквозь решетчатые ворота на Заварзина. От толпы отделился мужчина лет тридцати в спортивном костюме, вошел во двор.

– Василий Тимофеевич? – спросил он, протягивая руку. – Узнали этих бандитов?

Парни стояли потупясь, несколько человек расселись по бревнам, приготовленным на дрова. Девочка гладила выбежавшего навстречу кобеля Тришку. Тришка ластился, от удовольствия привычно завалился на бок.

– Да узнаю, – проронил Заварзин, расслабляясь. – Как не узнать...

– Привел, – объяснил мужчина. – На вашу волю, Василий Тимофеевич. Прощение просить будут. А вы хотите – милуйте, хотите – в суд подавайте.

Последние слова он произнес громко, чтобы слышали. Толпа глядела настороженно. Заварзин прошел мимо мужчины, вышел к парням.

– Что? Стыдно? – резким звенящим голосом спросил их мужчина. – Носы повесили? Обормоты...

Рыжий, как и вчера, стоял в первом ряду, глядел перед собой, на щеках с легким пушком поигрывали желваки. Заварзин приблизился вплотную, попытался заглянуть ему в глаза – тот отвернулся, спрятал руки в карманы. Глядя в лица, Заварзин прошел сквозь толпу, остановился возле девочки.

– А как зовут вашу собачку? – спросила она.

– Пшел отсюда! – крикнул Заварзин и пнул развалившегося кобеля. Тришка поджал хвост и метнулся во двор. Девочка испуганно вскочила. Ребята замерли, на лицах просвечивался испуг, детский, неприкрытый.

– Зачем вы?... – спросила девочка, но мужчина так посмотрел, что она отвернулась и сорвала травинку. Рядом оказался парень в очках. Смотрел прямо, спокойно, только стекла очков поблескивали.

– А тебе, парень, спасибо, – сказал ему Заварзин. – Так бы до утра в бане просидели.

Очкарик не ответил, стрельнул глазами в сторону рыжего.

– Ну что, командир? Язык проглотил? – сурово спросил мужчина. – Вчера храбрый был, а сегодня?.. Что молчите? Заработали каждый по три статьи и в молчанку играть?

Рыжий сцепил руки за спиной, выдвинулся к Заварзину. При дневном свете лицо его казалось совсем детским, только на губах почему-то были поперечные складки, как у человека пожилого, решительного и много пережившего.

– Уважаемый Василий Тимофеевич, – старательно и бесцветно проговорил он. – Мы все... просим у вас прощения за вчерашнее... За вчерашний проступок. От имени трудового десанта обещаем...

– Что ты мямлишь? – резко спросил мужчина. – Не проступок, а преступление! Групповое! Злостное хулиганство – раз! Нанесение телесных повреждений – два! Незаконное лишение свободы – три!

– А пятно мы смоем хорошим трудом, – пробубнил упрямо рыжий. – И обещаем впредь...

– Да ладно, не старайся! – отмахнулся Заварзин. – Все равно ведь врешь... Ничего ты не смоешь. Чем смывать-то будешь?

– Кровью! – откликнулся из толпы тонкогубый веснушчатый паренек. – Вы нам дайте всем по роже! Мы выстроимся, а вы дайте. И в расчете!

– Шлопак! – окликнул мужчина.

– Вы нас простите, – тихо сказал паренек, которого Заварзин не помнил. – С нами что-то вчера случилось... Что-то такое случилось...

На него зашикали. Мужчина заметил:

– А тебя, Савушкин, еще не спрашивали.

Савушкин пожал плечами, спрятался за спины и стал нервно грызть ногти. Виноватый Тришка подполз к ногам Заварзина и уткнулся мордой в сапоги.

– Вы что ж, серьезно пришли прощения просить? – спросил Василий Тимофеевич у мужчины. – Сами говорите – преступление. Так какое же прощение должно? Судить вас надо! Наказывать.

– Все слышали? – спросил у ребят мужчина. – Хорошо начали ударную работу, целинники. С мордобоя, с пожара.

– Прощать я не буду! – отрезал Заварзин. – И хозяин избы вас не простит. В ногах валяться станете – не простит. Вы что же, подлецы, натворили-то? Под музыку-то свою, а?

Ребята стояли понурясь, поглядывали исподлобья, чего-то ждали.

– Нам сказали, у домов в Яранке хозяев нет, – тихо произнес мужчина. – Будто бесхозные дома, ничьи... Я думал, зачем их ломать, ребят мучить? Мы технику безопасности соблюдали, избы полосой окапывали, чтоб не перекинулось...

– Значит, если ничья, то и жечь можно? – вскипел Заварзин. – Ты-то взрослый мужик!.. «Я ду-умал...» Эти избы еще полвека бы простояли! И нечего их ломать. Да еще школьников заставлять.

Он отошел и сел на бревна. Трудовой десант тоже расселся на траве, и над головами поплыл приглушенный разговор. Рыжий о чем-то спорил с очкариком, тихо, но яростно. Мужчина тяжело опустился рядом с Заварзиным.

– Сосняк-то порубили – пахать будут? – спросил Василий Тимофеевич.

– Говорят, пахать, – вымолвил мужчина. – Опытную площадь...

– Другого места не нашли? Пахари... Мы его сажали, пололи, опахивали... Теперь ты, поди, голову ломаешь, отчего твои ребятишки избы жгут да людей избивают?

– Я понимаю, Василий Тимофеевич, – виновато сказал мужчина. – Только я от них не ожидал... Отлучился на один вечер, и вот... Съездил, называется, на рыбалку... На природе одичали, что ли?

– Они не на природе одичали, раньше еще, – проронил Заварзин. – А ты что, учитель?

– Физкультуры... Ну, я теперь им устрою отдых! Навек эту деревню запомнят!

– Ты мне скажи, учитель, как вы дальше жить-то собираетесь? Ведь ребятишек-то пересаживают. Не сегодня, так завтра.

– Пересаживают их, как раз... – пробубнил учитель. – Скорее меня запахнут вместо них... А сколько хозяин за избу просит, не знаете?

– Нисколько, – бросил Заварзин и встал. – Кто ее ставил, того давно на свете нет. Ему не заплатишь.

– Понял, – буркнул учитель и приказал рыжему строить отряд. – Хорошо развлеклись...

Трудовой десант побежал по дороге, сохраняя строй. Рыжий бежал по обочине, командовал, а по другую сторону, в одиночестве, трусил парень в очках.

Тришка помедлил, но потом сорвался следом, и гулкий его лай далеко разнесся в вечерней тишине.

Последним в тот день на заварзинскую пасеку приехал бывший учитель Вежин. Василий Тимофеевич выслушал соболезнования, рассказал (уже в который раз!), как все случилось в Яранке, и решил, что на этом Сергей Петрович и успокоится. Однако тот нахмурился и уселся поудобнее, будто рассчитывал на долгий разговор.

– Это, Тимофеич, еще не горе, что избы жгут, – сурово проговорил он. – Все еще впереди... Гари корчевать станут – вот беда наша. Ты же знаешь, пахать-то здесь нельзя.

– Отчего же нельзя? Канавы рой, чтоб вода отходила, и паши. Земля-то вон какая... Была бы техника, еще при коммуне распахали... Да не верю я что-то, долго собираются. Да и кто пахать будет? Нефтяники, что ли?.. Они и плуга-то не видали. А тебя не заставишь. Ты же в колхоз не пойдешь.

– Найдут, кому пахать, не волнуйся, – сердито сказал Вежин. – Переселенцев навезут, всяких там вербованных, бичей, туенядцев. Этого ты хочешь? Чтоб испоганили все, изгадили?

– Я знаю, тебе пасеку жалко, – бросил Василий Тимофеевич. – Распахнут гари, пасеку убирать придется. К тому же с самолетов ядом посыпать начнут...

– Да, жалко! – возмутился Вежин. – Мне нашу землю жалко! В Яранке уже пахут, безо всяких канав! Болото будет! Привыкли рассуждать: есть земля – паши и сей! Авось что вырастет! А не вырастет – земля виновата. А надо брать у нее, что она дает, что может дать!.. Ты же крестьянин, понимаешь.

– Понимаю! – тоже рассердился Заварзин. – Но и с медом мы здесь не проживем! Мы ведь плохо стали жить, Петрович. Ты погляди: куда годится такая жизнь? По пасекам разъехались, по хуторам! А вроде в одном селе живем... Раньше выселок как огня боялись, а теперь добровольно пошли. Мы ведь будто горячего меду наелись, пучит нас от него.

– Да мы только что жить стали! – возразил Вежин. – Хотя от бичей да вербованных избавились, дышать вольготно... А вот погоди, нагонят сюда переселенцев – воровство, поножовщина пойдет. Вот тогда запоем лазаря. Видал, какие нынче школьники? Как они тебя? – напирал бывший учитель. – А что дальше будет?.. Начальству ведь канавы рыть да воду спускать некогда, им людей кормить надо. Им завтра хлеб и мясо нужны!

– А коли так, то ничего и не возьмут с нее, – рассудил Заварзин. – У меня другое сомнение... Земля-то научит, как с ней обращаться. Эта наука мордой об лавку дается. Пускай холку-то собьют себе, потом думать станут. И осушать, и ухаживать... Тут, Петрович, другое. Пахать-то ее вздумали, когда нефтяных городов настроили, когда вышло, что людей кормить нечем. Получается-то как? Не нашли бы нефть, так и гари не тронули. А тут для нефти еще и земля потребовалась. Нефть, она что – ну, тридцать, ну, даже сто лет, и кончилась. А земля никуда не денется. Почему же она у нас как подсобное хозяйство у нефти, а? Ведь всегда наоборот было!.. Если так рассуждать, кончится нефть, и землю бросят. Она будто на подхвате стоит, как подмастерье.

– Вот потому я и хочу, чтоб не трогали ее! – воскликнул Вежин. – Чтоб пчеловодство здесь оставили!

Это была давняя затея Вежина, и определение было его – пчелиная республика. Он писал письма в разные инстанции, рассылал проекты с экономическими выкладками, ездил сам и ходил по начальству. Если его гнали из одной двери, он тут же стучался в другую. Заварзин, еще будучи председателем сельсовета, мотался за ним, как бычок на веревочке. Их выслушивали, согласно кивали, обещали рассмотреть вопрос, но уже скоро стало ясно, что никакая республика области неинтересна. Десятью годами раньше открыли большую нефть, и теперь на севере области строили два новых города. В кабинетах начальства только и слышно было – нефть, промыслы, добыча... Заварзин тянул Вежина за рукав – поехали домой, не видишь, что ли, мед не нужен, когда есть нефть. Зачем напрасно отрывать людей от важного дела? Однако Вежин еще года два не мог успокоиться. Потом несколько лет о пчелиной республике никто не вспоминал в Стремянке, пока не пришло известие, что гари будут распахивать и строить зерновые и мясомолочные совхозы: надо было чем-то кормить нефтяников.

– А мед-то твой, Петрович, что? Он ведь, как нефть, надолго ли? – Заварзин поморщился. – Еще лет десять, а потом на горях лес подымется, кипрей заглохнет. И весь твой мед. Ты же сам говорил: мед – продукт дикой природы. На нем долго не протянешь. Что ж, так в диком состоянии и держать природу?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.